Алексей Юрьевич Герман, Светлана Игоревна Кармалита

## Повесть о храбром Хочбаре

«Скажи мне, море, почему ты солоно?»

«Людской слезы в моих волнах немало!»

«Скажи, о море, чем ты разрисовано?»

«В моих глубинах кроются кораллы!»

«Скажи, о море, чем ты так взволновано?»

«В пучине много храбрых погибало!

Один мечтал, чтоб не было я солоно,

Другой нырял, чтоб отыскать кораллы!»

Расул Гамзатов

###### Экранизация поэмы Расула Гамзатова «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о хунзахском нуцале и его дочери Саадат»

Гора была желтая, камни, которые когда‑то катились с ее вершины, застыли на полдороге, вдруг обессилев, звуков не было, так что начинало ломить в ушах, и только после звук пришел, гора гудела, и с этим гулом, возникающим откуда‑то изнутри и заполняющим экран – из ничего, из желтых печальных камней один за одним возникли, будто проявились, всадники. В тяжелых серых бурках, тощие и остроплечие. Гул меж тем делался нестерпимым, маленький камушек скатился вниз, совсем маленький, но его было достаточно, гул оборвался, исчез, остался звук катящегося камушка, и так же из ничего возник аул, в ауле закричал петух и сразу заплакал ребенок.

Голубь растопырил лапу и царапался, других возможностей защититься у него не было, и мальчик не захотел смотреть, но старик поймал его за затылок, развернул и держал крепкой трехпалой рукой, такой крепкой, что было больно, мальчик крикнул, отпустил голубя, а старик закрыл клетку. Охотничий сокол в клетке голубя не видел, на голове у него был кожаный чехольчик с двумя камушками на месте глаз, но слышал и сделал короткий твердый шаг, звякнув колокольчиком на лапе. Два раза повернул странную голову в чехле, голубь заметался, сокол прыгнул, ударил, потом обнял добычу широким рыжим угловатым крылом, прижал к себе, будто любовно, будто закрыл от остального мира, теперь мальчик смотрел, приоткрыв рот, на расцарапанном его лбу выступили капельки пота. Сокол заворочался, не поднимая неподвижного крыла, и колокольчик мягко задзинькал.

Было ясное холодное утро, где‑то внизу говорили два женских голоса и были слышны шлепки кизяка о камень, баран потерся об дверь сторожевой башни, испугался чего‑то и поспешил прочь.

Старик погладил бритую голову мальчика, зачем‑то дунул на нее и, потеряв к мальчику интерес, отошел, взял прут и, резко оттянув, ударил по растянутой на колышках папахе, потом еще и поглядел. Дома спускались террасой и на два дома ниже другой старик тоже вынес папаху на двор.

Облако село на вершину кольцом, ровным и аккуратным, будто его прогнали на гончарном круге. Снег на вершинах таял, в ущелье ревела вода, она несла с гор деревья и мусор. Ствол был толстый, на быках не спустишь, избитый и ободранный, он встал на камнях и, казалось, нацелился прямо в живот. Хочбар стоял напротив в ледяной воде, спиной опираясь на камень. Он расставил длинные руки и присел и, уже присев, еще раз помахал ими. Бревно медленно, тяжелое, бугристое, с намокшей отваливающейся черной корой, ворочалось на камне, целя то в лоб, то опять в живот, обрубки ветвей, пружиня, еще противодействовали потоку, но силы уже сравнялись, и вдруг в миг, сделавшись немыслимо невозможно легким, оно скользнуло, ушло в прозрачную воду, не прыгни Хочбар, оно бы сбило, переломало ноги, но он прыгнул и оседлал и пронесся несколько метров, сидя верхом и задом наперед, остальные бежали по берегу.

С берега бросили веревку, он зацепил за острый сук. Повсюду горели высокие костры, у них грелись, просто сидели, перед тем как полезть в воду, тут и там лежали вытянутые из воды, черные обезображенные бревна, в них били дыры для цепей, прилаженных к воловьей сбруе.

После ледяной воды холодные камни казались теплыми, могучие ноги в мокрых шароварах еще дрожали от напряжения, он сжал их руками и засмеялся от ощущения силы в собственных пальцах и от того, что бревно, огромное и тяжелое, отличный столб для любого дома, лежало здесь, у ног, и от того, как неслышно за шумом потока лаяли лохматые псы, как осторожно нюхал его, мокрого, скользкого, наверное, как рыба, его собственный конь, и от того, как горел огонь, и оттого, что ему было двадцать пять лет.

Открыв рот, беззвучно закричал хромой Лекав, указывая рукой туда, вверх, где только что сидело бревно, поспешно по‑утиному побежал и опять крикнул. Там, в камнях, в наполненной воздухом прозрачной воде было еще что‑то, Хочбар не видел за брызгами и успел выскочить, пока это что‑то вдруг не ринулось вперед, не мелькнуло не то белое лицо и поднятая рука, не то орешник без коры и еще что‑то… Намокшая притонувшая бурка – вот что это было, что же еще. Мелькнуло, клюнуло и исчезло за камнями, куда не войдешь, не въедешь.

Мелкие аварские волы беззвучно гремели длинной цепью, зацепленной за бревно.

Когда они, пустив лошадей в галоп, въехали за гору, грохот реки вдруг пропал, будто распухла голова. Тень склона криво лежала на белых камнях, один за одним длинной цепочкой они въезжали в эту тень, карабкались по склону лошади, всадники втягивались в торопливое, но рассчитанное на длительность и экономию сил движение. Сухопарые остроплечие, как те в начале, они стали похожи на огромных нахохлившихся птиц.

Дон Ребо, путешественник, немного художник, немного просветитель, ценитель и знаток Персии, Восточного Кавказа, а главным образом слуга Господа Бога, наместникам которого он и адресовал в Рим написанные мельчайшим почерком корреспонденции, с мастерски выполненными зарисовками владык, перевалов и крепостей, посмотрел на ученика и высморкался. Он был немолод, весь состоял, казалось, из длинных жил, свернутого шрамом, огромного, всегда простуженного носа и маленьких цепких глаз.

Рыжий лисий плащ, даже стянутый на груди шнуром, не годится для гор, лисья шкура легка, она для равнинной лесной Европы, там такому плащу, может, и цены нет, здесь забава. Но бурка тяжела, пахнет бараном, а главное, пока разберутся, кто ты и зачем, в суматохе набега можно получить в бок длиннющую аварскую стрелу и от своих, и от чужих.

Покуда же холодный ветер все норовил надуть эти плащи, закинуть сзади на голову, они оба – художник и ученик – пытались держать коней стремя к стремени, по очереди закрываясь от ветра. Но ученик завозился, выпустил полу из‑под седла, она хлопнула, плащ надуло пузырем на спине, он располосовался, и полосы закинуло на голову. Под копытами лошадей был белый, прихваченный морозом снег. Ученик художника сразу представил себе, как промерзнет он от живота до лопаток, слез с лошади, прижался спиной к камню и заплакал, он измучился переходом. Кривоногий нуцальский солдат, такой кривоногий, что это должно было мешать ему ходить, но он ходил как раз ловко, беззвучно спрыгнул с камня и с брезгливой жалостью, не мигая, уставился на плачущего ученика. Потом порылся в мешочке на поясе, чем‑то побренчал и так же, не мигая, протянул ученику длинный, похожий на смоленую веревочку кусок сухого мяса. Ученик отрицательно затряс головой, но мясо взял и стал жевать, продолжая при этом плакать.

Далеко внизу под ними лежал аул, плоские крыши террасами одна к одной спускались в ущелье, из них ложились тонкие дымки, и не было снега. Если напрячься, можно было услышать, как кричат петухи. Сторожевые башни из одинаково крупных камней торчали по обе стороны ущелья, и дома, и халы, и тонкие полоски полей по одну сторону ущелья поблескивали на холодном солнце, по другую уходили в тень.

Нуцальский солдат снова засмеялся, дал ученику свой башлык, и тот торопливо принялся обвязывать им спину.

– Из одного рукава Господь вытряхнул вепря и свинью, – крикнул вдруг Ребо и вытер пальцы меж ушей лошади, – провидение подарило тебе редкостный удел видеть торжество правопорядка взамен гибели свободы. Эти несколько гидатлинских аулов, о которых я тебе говорил, и тот, который лежит под тобой, Хотада, запомни это название, едва ли не последнее общество вольных людей, возможно – прекратит сейчас свое существование… Но у тебя замерзла спина и мелко трясется копчик, и ты занят этим, я же простудил лоб и занят слизью из носа… А этот солдат не сможет грабить и за это не любит нас… Возможно, единственных, кто расскажет просвещенному миру… – он не докончил и махнул рукой. – Впрочем, на фоне этих суровых каменных жилищ я когда‑нибудь изображу льва, терзающего обнаженную гидатлинку. Это будет эффектно, если использовать голландскую манеру письма.

Петухи в Хотаде все кричали, не перебивая друг друга в странной очередности, будто зная то, что не дано еще было знать ни женщинам, лепящим на стену кизяк, ни девочкам в шароварах и с кувшинами, ни старикам на плоских крышах.

– Илля! Алла! Ааааааааааа!

Даже сюда, на скалу, наверх этот не то крик, не то визг долетел достаточно громко, казалось громче, чем пальнула внизу кремневка. И вдруг показалось будто, как на нарисованный внизу пейзаж стряхнули с кисти разведенную фландрийскую сажу, заляпали его тонкими и широкими черными кляксами.

Опять выстрелила кремневка, дорога и площадь внизу стремительно заполнялись всадниками, они разделились, один отряд полетел в дальний конец аула, другой оставался на площади, пронзительно кричали женщины, отсюда сверху все это казалось несерьезной игрой, стаи голубей поднялись над дворами и зависли в прозрачном воздухе.

Всадники окружали сторожевые башни, сверху были видны гидатлинцы, зря бегущие к этим своим уже окруженным башням. На площадь камчами сгоняли людей и скот, когда внезапно на краю аула вспух странный черно‑коричневый гриб и из него повалил черный жирный дым.

Из‑под лисьего плаща из суконной сумочки Ребо достал короткую и толстую мореходную трубу, туманные стекла приблизили аул, но картина грабежа и насилия, избиваемые собаки, женщины, цепляющиеся за косяки своих жилищ, мальчик, запаливший на окраине бурдюки с нефтью, и ханский нукер, карабкающийся за ним по скале, – все эти картины насилия, много раз виденные, мало чем отличали Восток от Европы, дорогую же трубу предпочтительнее не держать отсыревшими рукавицами. Ребо погрел руки в лошадиной гриве, хотел было убрать ее обратно в сумочку, но, скорее почувствовав что‑то, чем увидя, резко поднес ее к глазу и так же резко и неожиданно увидел других всадников, странно растянувшихся на той, другой, теневой половине горы. Передний всадник был полуодет и, как ему показалось, бос.

– Смотри, – сказал Ребо нукеру и попытался, не выпуская трубу из рук, дать ему поглядеть, но тот был не в состоянии сосредоточиться, он был как охотничья собака, не спущенная с веревки на гоне, даже повизгивал.

Нукер увидел сам и покатил на кривых ногах к лошади, по затылку и по спине было видно, каких усилий ему стоит не показывать тревоги. Он вскочил, улыбнулся, продемонстрировав выбитый зуб, и позвал уезжать. На коне он опять был хорош, только пот, внезапно потекший из‑под папахи на лицо – здесь на ледяном ветру – обнаруживал напряжение и испуг.

– Ааааааа! Алла!

Подшпорив лошадь, Ребо еще раз обернулся, кремневки внизу хлопали раз за разом, всадники крутились на площади, сбиваясь в темную плотную кучу, и эта куча вращалась, заворачиваясь спиралью, и ему показалось, что в центре спирали тот же полуодетый всадник без папахи, бритая голова на полметра над остальными.

– Ааааааа! – все там слилось в один крик, желтым веселым пламенем горела сакля, черным жирным дымом в стожках горели бурдюки с нефтью, эти два дыма перекрещивались в воздухе, и Ребо крикнул ученику, чтоб тот запоминал… для правильного смешивания красок…

– Как шаг Господа, – бормотал он, – как шаг Господа, знак беды.

Копыта ломали наст, звуки ушли, остался только хруст наста.

Три нукера были схвачены одним арканом, толстого нукера аркан, видно, придавил под подбородком, он сипел и держал голову вниз, боялся, чтобы не сдавило горло, нога дрожала, он пытался унять эту дрожь.

Хочбар бросил аркан старику, тому, что кормил сокола, вошел в дом, здесь было разорено и папахи на гвозде не было.

– Папаху унесли, – крикнул мальчик, – и сокола унесли… а я зажег бурдюки, и меня не догнал нукер… Я укусил его за вонючую руку, – мальчика трясло, голос перешел на визг, и он вдруг стал плясать посреди двора.

Прошла женщина, царапая себе лоб.

Хочбар долго неподвижно смотрел на мальчика, было очень холодно, потом отвязал от седла скрипку, сел на корточки и стал играть, глядя на снежные горы, на которые ложился, перекрещиваясь, белый и черный дым.

Толстый столб стоял здесь, на площади, всегда, старики не упомнят. Дерево как изгрызано, нож вошел в него мягко, рядом воткнулся еще нож, еще. Гидатлинцы подходили не торопясь, втыкали кинжалы, одни сразу уходили домой, другие отходили в сторонку, присаживались на корточки, сидели привычно, руки меж колен. Гула строгал веточку, длинные усы были опалены вспышками ружейной полки. Играли дети, блеяли овцы, набега будто не было, и женщинам было запрещено голосить.

Хочбар был в башлыке, папаху украли, что делать, в мешке тащил убитую собаку, хвост мёл по земле, там же, в мешке, лопата. Мимо столба он не задержался, прошел, однако, когда успел, не видно, в столбе торчал на полметра выше остальных еще один кинжал, лезвие чуть погудело и успокоилось. Ножи были разные, грузинские в пышной резьбе и чеканке, восточные в серебре, местные гладкие, без баловства. Кинжал Хочбара был длинный, гладкий, в меру широкий, со странным синим камнем в рукояти.

Воткнутый кинжал Хочбара означал ответный набег. Все закричали.

Мальчик подбежал сзади, погладил хвост собаки и заплакал. Хочбар мягким войлочным сапогом гнал камушек. Улица пошла вниз, камень покатился сам, но остановился.

– Попробуй посмотри на него, – сказал Хочбар мальчику, – заставь его катиться.

Мальчик уставился на камень, зашептал, даже уши у него вспотели.

– Теперь крикни.

– Катись, камень, – крикнул мальчик.

– Попроси…

Мальчик крикнул эти же слова громче, еще громче, совсем заорал:

– Катись, катись, камень…

С крыши дома смотрел, молча жевал старик.

Хочбар пошел вниз, пнул камень ногой, и тот покатился.

– Запомни, – сказал он мальчику, – иначе не бывает, – они пошли следом, мальчик держался за мешок, в который была завернута собака. Собака была тяжелая, и натертое плечо болело.

Камень опять остановился, но Хочбар уже думал о другом.

Коней они положили за каменистым гребнем, сами еще немного проползли, прежде чем увидели внизу Хунзах. И долго лежали так, пока смеркалось, глядели, как погнали скот, как старик провел в поводу коня, как прошли в длинных шубах сторожевые посты к въезду, на площадь и к нуцальскому дворцу, как почему‑то во дворе дворца забегали женщины, как сам нуцал в белой папахе о чем‑то говорил со странным человеком в сапогах с отворотами и рыжей накидке.

Гула, скаля белые зубы, вязал уздечку, Лекав поил изо рта белого петуха с обмотанным ниткой клювом, Хочбар дремал и резко проснулся, будто кто‑то сказал «пора».

Стемнело, горы по ту сторону ущелья еще угадывались, пошли втроем – Хочбар, Лекав и Гула – и, спускаясь на мягких войлочных подошвах, слышали, как вверху над ними кто‑то из гидатлинцев громко запел сказку. Теперь они шли вдоль склона, и пост на въезде в Хунзах был под ними, нукеры в больших тяжелых шубах, кремневки над папахами, как трубы. Один из нукеров ногтем, не боящимся огня, поворошил золу, донесся приятный запах кизячьего дыма. В эту секунду Гула и швырнул белого петуха, петух полетел по кривой, хлопая и треща крыльями, все там уставились на него и загляделись, Хочбар прыгнул, успел ощутить полет, ударил одного ногами в шею, почувствовав, как хрустнуло, и огромной своей ладонью схватил за лицо другого, навалившись, увидел вдруг близко красную золу и ставший красным от напряжения и ужаса выпуклый глаз, который должен был сейчас ткнуться в эти красные угли, и подставил свою руку. Сначала почувствовал вонь, и только после боль.

Лекав и Гула, тихо посмеиваясь, вязали третьего, Гула свистнул, и из темноты стали появляться всадники, удила промазаны салом, копыта обвязаны тряпками, кони шли беззвучно, будто плыли. Пленный понимал, что от него надо, мелко кивал. Лекав опять поил изо рта петуха. Всполошились собаки, и старческий голос спросил, кто такие, чего надо. Но пленный тут же закричал, чтоб тот шел спать к жене под бок, если с той не спится, пусть возьмет новую жену. Когда же прошли этот дом, пленный заплакал и так плакал, пока его не отвели к коновязи и не велели ему лечь на землю лицом вниз.

Нуцальский дворец одной своей стороной примыкал к обрыву, и стена и башня еще читались на фоне неба. За стеной промычала корова, потом по стене, подобрав полы шубы, прошел нукер. К стене поднесли шесты с перекладинами, полезли прямо с седел. Тени в бурках мелькнули на фоне неба и тут же пропали. Опять появился нукер в шубе и ушел в тень, там, в тени, коротко охнуло, потом тяжелое шлепнулось с высоты на землю, и уже после тишину прорезал долгий мучительный крик. Что‑то там у них не вышло, впрочем, было уже не важно.

– Илля! Алла!

Горящие бурдюки полетели за стену во двор, на крыши пристроек. В красно‑буром свете горящей нефти в черном жирном дыму возник фонтан во дворе, узоры под прозрачной водой, сбившиеся в углу двора коровы. Закричал, завыл женский голос, захлопали под стеной кремневки, визжали нападающие. Рядом с Хочбаром гудел, разгораясь, бурдюк, он отступил, чтобы не сожгло сапоги, ударил ногой в дверь, и на него дохнуло жарким помещением. Из угла неподвижно смотрела немолодая с открытым ртом женщина, затем, так и не закрывая рта, мелко икнула.

– Ханша, – сказал Хочбар, и сам себе кивнул, – ханша.

Из глубины дома тащили завернутых в бурки женщин, проковылял Лекав с тюком на плече, с одной стороны тюка – ноги в странных с завязками шароварах, другой конец вдруг раскрылся, высунулось выпученное усатое лицо с носом, перерезанным шрамом.

Склонив голову набок, Хочбар все смотрел на ханшу.

– Ханша, – опять сказал Хочбар, засмеялся, зацепил на кончик палаша лежавшие на лавке расшитые голубые шаровары и, выйдя на стену, метнул палаш вместе с шароварами на верхний срез башни.

Они неслись по улице аула, впереди трое с факелами. Холодный ветер с гор наполнял легкие, позади начинался пожар, там ахнула пушка. И где‑то над ними, подрывая, пролетело ядро.

Аул внезапно кончился, светлеющее небо закрыла гора, они растворились в темноте, заплескала под копытами вода, зашипели брошенные в реку факелы, фыркнула лошадь, раздался смех, кашель и все исчезло.

Рука дрожала, слабая беспомощная рука, нуцал ударил ее хлыстом, подивился, что не чувствует боли, и ударил еще. На этот раз брызнула кровь и стало полегче. Нуцал все покачивал головой, поймал себя на этом, но тут же стал покачивать опять, толкнул дверь, дверь уперлась в мягкое, старая ханша стояла на коленях в коридоре.

В глубине коридора был яркий дневной свет, там возникла молодая ханша. Нуцала всегда тянуло к ней, но сейчас в ее лице почудилось торжество, да скорее так оно и было. И хотя она быстро опустила глаза, он помчался к ней с проклятиями, поднял хлыст, она тоже закричала, повалилась на пол и закрыла голову, он пнул ее, вернулся к старой ханше, поднял, ханша заплакала, и они посидели на лавке рядом, как давно уже не сидели.

– Моя дочь здесь, – сказал он ханше и постучал по полу ногой, – она не покидала дома, моя дочь испугалась и больна и не выходит… Похищены же служанки и иноверец. Объяви всем так.

От ужаса и от сознания того, что произошло на самом деле, боль острым колом встала в груди и в животе, и, чтоб унять ее, он опять закачал головой.

– Если слух в чьих‑нибудь шлепанцах шагнет в аул, утоплю всех… – Он ударил ханшу своим маленьким высохшим кулачком по голове и побежал на галерею. После сумрака дома яркий белый день ошеломил его. Коров не выгнали на улицу, они сгрудились во дворе, нукеры длинным, связанным из нескольких шестом сбивали из‑под крыши башни хочбаровский палаш, шаровары, на счастье, уже содрали, лишь маленький кусок голубой материи с бахромой ниток трепался на ветру. Рабы с колодками на ноге и женщины обмазывали ограду свежей красной глиной. Мальчик‑перс тут же железным резцом наносил узор, черные в разводьях следы пожара исчезали на глазах.

Магома‑сотник был уже в седле, и нуцал тоже полез на лошадь. Палаш Хочбара наконец сбили, он упал, покатился с обрыва, и нуцал успел увидеть, как внизу его подобрал мальчик‑пастух, удивленно замахал им и что‑то закричал. Они понеслись вдоль аула, пугая собак, здесь даже нуцал должен был вести коня в поводу, но что ему сейчас до обычаев. На выезде ждали еще три десятка нукеров и сын Башир, узкоплечий и длиннолицый.

– Если кто‑нибудь выйдет из Хунзаха и отойдет на десять шагов, бить плетьми, чтоб обратно полз, – крикнул нуцал.

Телега уже стояла здесь, она была выкрашена голубой краской, наспех загружена узлами, узлы прихвачены кожаным ремнем. У телеги с кремневками нукеры, маленький костерок. Дальше, дальше. Еще пост. И впереди за ручьем у ореховой рощи остановленное ханское посольство. Вокруг большого костра – не по‑здешнему одетые воины в иранских кольчугах, музыканты, шесты с праздничными лентами, чуть в стороне у облетевших миндалевых деревьев голубые груженые фаэтоны, ярко разукрашенные кони.

В груди и животе нуцала опять поднялась тупая боль, и он сунул ладонь под рубаху, чтобы успокоить ее.

Их тоже увидели, у костра засуетились, и нуцал сам ударил коня Магомы платком, чтобы все поскорее кончилось.

– Кричи громко, – приказал он, – чтобы никто не посмел перекричать тебя… посол хана глуп, пусть толмач переводит доступное…

Магома выехал, за ним зурнач с толмачом. Зурнач дудел пронзительно и с вызовом. Когда он замолчал, Магома сплюнул слюну, чтобы не село горло, и стал кричать.

Толмач также срывал горло, переводил на лакский.

– Уезжайте, – кричал Магома, он махнул кистью в сторону дороги и белых гор, откуда те приехали, – в ваш Кази‑Кумух, ваш хан обманул нас, его сын Мусалав слаб и некрасив, он не может натянуть лук… он малокровен, и изо рта у него течет слюна, он не сможет справиться с девушкой. И нуцал не хочет, чтобы Саадат приняла его подарки.

Пока Магома кричал, нуцал кивал после каждой его фразы. Магома обернулся, зурнач опять задудел, и к ручью, упираясь и скользя задними копытами, стала спускаться тощая кобыла, впряженная в голубую телегу. У воды кобыла остановилась было, но нукер хлестнул ее, и она пошла дальше. Нукер же спрыгнул и пошел обратно, загребая ногами и боясь упасть.

Несколько секунд было тихо. Потом казикумухцы завизжали и побежали к кобыле, кобыла испугалась, заскользила на мокрых камнях, упала и забилась, пытаясь встать. Казикумухцы же взрезали тюки ножами, вытряхивали их в ручей, топтали, рвали. Притащили огромную головню, попытались зажечь.

Нуцальский толмач повернулся спиной, нарочно не переводил, сидел с закрытыми глазами, губы дергались, запоминал для нуцала.

Тюк зеленого бархата лежал, на глазах намокая и темнея. Казикумухец, квадратный от кольчуги, подошел к нему, повернулся тяжелой своей спиной и стал мочиться на тюк.

Нукер рядом с нуцалом легко выдернул длинную белую стрелу, но нуцал покачал головой, повернул коня и поскакал обратно. Магома, Башир и еще двое понеслись следом, остальные оставались здесь, у ручья.

Утренний свежий ветер с гор забивал легкие, выбивал слезу из глаз. Белая снежная гора с солнцем, вылезающим из‑за гребня, слепила, не давала смотреть. Аул в его свете вставал на пути как мираж.

От аула навстречу, такие же зыбкие, нереальные, ехали еще нукеры. Большое дерево закрыло солнце, они сразу же резко обозначились, и у нуцала опять заныло под сердцем.

– Хочбар сказал так, – подъехавший десятник Науш боялся нуцала и обращался к Магоме, он был в кольчуге, в шлеме и в полном боевом вооружении, мокром и грязном, – пусть мне вернут мою папаху, чтобы я повесил ее в своем доме на свой гвоздь, пусть те, кто были в набеге у нас, приедут еще раз, надев на головы тряпки, которые забрали у наших женщин, и повяжут эти тряпки как чалмы, пусть нуцальский сын стоит на въезде в Гидатль, без коня, мальчик покажет ему место, там зарыта собака, которую он убил.

Науш осип в пути, кашлял, нуцал терпеливо ждал, когда он откашляется, и все кивал и дважды еще кивнул, ожидая продолжения, но нукер молчал.

– Ты видел Саадат?

– Нет. Я два часа стоял без папахи под дождем, там у них идет дождь, со мной говорил мальчик, – Науш нерешительно пошевелил ладонью, пытаясь показать рост мальчика, – тот, который знает.

Башир заплакал и, чтобы это не увидели, стал глядеть вверх. В голых ветках дерева кричали и дрались вороны.

– Ему не нужен выкуп и косы Саадат ему не нужны… – Науш пожал плечами.

Магома взял его за лицо, потянул, оттягивая рот, и оттолкнул, пожимать плечами не дело нукера. И они не торопясь пошли, стараясь быть на людях спокойными и подставляя лица солнцу.

Башир часто втягивал воздух носом и сжимал и разжимал кулак. Нукеры сзади переговаривались, потом один из них негромко засмеялся.

Во дворце нуцал сразу ушел к молодой жене, долго глядел на нее, пытаясь распалить воображение, но потом вдруг закричал, забился головой о резной деревянный столб, затем велел позвать писца и стал, путаясь и сердясь, диктовать послание кумыкскому шамхалу.

– Шамхал, – диктовал он, – сегодня я велел прогнать казикумухцев и вернул им свадебный калым. Зачем мне союз с лакцами, лудильщиками посуды, коварными и ветреными?! Я предлагаю союз тебе, мне нравятся твои степи, где можно так далеко видеть, и море без края. В знак этого союза я предлагаю породниться, и хотя моя дочь по‑прежнему еще очень юна, но к зиме…

Пока он диктовал письмо, его сын Башир ушел в птичник, где откармливали гусей, и, спрятавшись в углу, попробовал вогнать себе в горло стрелу, оттягивая тетиву ногой, но в последний момент не смог этого сделать и пустил стрелу в сено. Стрела прошла через сено в коровник и воткнулась в пятку толстого старого нукера, который устроился там со скотницей.

В это же время слуги внесли на галерею дворца ведра с мокрым песком и ссыпали песок на большой медный противень. Магома ловко слепил горный хребет, черным обожженным пальцем промял в нем перевалы и тропы, остатки песка в углу противня он разровнял. Ровная часть песка была степь и море, Магома ухмыльнулся и там, где было море, положил сухой виноградный листок, загнутый по краям листок напоминал персидское судно.

– Похоже на персидское судно, – сказал он. – Хан поставит пушки на перевале, – и он ткнул в промятый пальцем перевал, – а тропами в горах не пройдет свадебный поезд. Море останется морем, а горы горами. – Он щелкнул ногтем по самой большой вершине, посмотрел на нуцала и, вдруг испугавшись, добавил: – Правда, Саадат будет в доме и опять будет невестой…

Но нуцал его не слушал.

– Смотри, Магома, – сказал он, – тучи похожи на черных всадников в бурках. К добру ли это моему дому?

Они оба понимали, что не к добру, и тревожно вглядывались в эту странную тучу, наползшую из‑за горы и действительно похожую на всадников.

– Это просто дождь, – сказал Магома, – который мочил Науша у гидатлинцев… Беда не может быть и там и здесь…

Саадат, дочери нуцала, было пятнадцать лет, взрослая уже девушка, и сидела она неестественно прямо, глядела перед собой чуть вверх, будто все в доме ее не касается, но нос был испачкан сажей, и выглядела она поэтому не неприступной, а жалкой.

Огромная, таких не бывает, темнолицая и странно красивая старуха поставила перед ней миску с мясом, но Саадат оттолкнула миску, и миска упала. Старуха наклонилась, собрала мясо с пола и опять поставила, Саадат опять оттолкнула, старуха опять собрала мясо, а потом, быстро оглянувшись, неожиданно шмякнула нуцальскую дочь пустой миской по голове. Саадат никогда не били, она завизжала, бросилась на старуху, хотела вцепиться, но тут же получила миской еще и еще. Удары были ловкие, неожиданные, точные, и Саадат отступила.

Старуха положила мясо в другую миску и опять поставила на стол, первую миску старуха держала наготове. Саадат испугалась и стала есть, она была голодна, и старуха дала ей еще мясо и еще лепешку.

– Ты много ешь, – сказала старуха, – пожалуй, я оставлю тебя дочкой, – и засмеялась, как заухала – ухухухухух.

Стены были чисто побелены, очаг же дымил, белые стены, белый дым. Толстые слепые щенки поползли из угла к двери.

– Но для этого надо, чтобы ты понравилась моему сыну, а он не разглядел тебя в темноте, – старуха опять заухала. Саадат хотелось крикнуть ей что‑нибудь, но пустая миска была по‑прежнему в руке у старухи, и Саадат вслед за щенками пошла к дверям, ожидая, что старуха ее остановит, но ее не остановили. На улице медленно и торжественно валил снег, снег был крупный, он закрывал дальние горы, падая, не таял, и аул, спускающийся вниз, был бел. Кричали петухи. Саадат показалось, что если закрыть глаза поплотнее, посильнее сжать веки, а потом сразу же резко открыть, то этот аул и эта страшная прошедшая ночь исчезнут, превратятся в сон. Так она и сделала, плотно до боли закрыв глаза, и сразу же услышала легкий звон. Открыла глаза, аул был здесь: белый, враждебный, – звон продолжался. Он шел с неба, этот звон, откуда‑то из густого идущего снега, скорее всего, это было какое‑то знамение, что ж это могло быть еще. Ее затрясло так, как трясло уже не раз за этот день, ноги ослабели, и она села на порог.

Из сарая вышел старик и тоже стал слушать, даже папаху снял и зажал меж ног, потом вдруг резко поднял вверх руку и так постоял. Звон усилился, и на руку сел крупный сокол с колокольчиком на лапе и забегал от кисти к локтю, продолжая звенеть. Старик сунул его под шубу. Большая раздавленная клетка лежала недалеко, старик пнул ее, и нога тут же застряла меж прутьями, из‑за сокола он не мог высвободить ногу и, зло поглядев на Саадат, так и пошел в сарай, таща клетку на ноге.

В следующую секунду Саадат увидела Хочбара. Вся бурка была в снегу, он был без папахи и без тюбетейки.

На бритую голову ложился снег, он стекал по лицу, и оттого лицо его в первую секунду показалось Саадат заплаканным. Он смотрел на нее с любопытством, на плече у него был обрезок окоренного бревна, он свалил его, оно было такое тяжелое, что Саадат показалось, что дом дрогнул. Потом его большие ноги в сырых войлочных сапогах прошли рядом с ней, почти переступив через нее, запах мокрого войлока на секунду остался в воздухе, и она услышала, как он негромко сказал, чтобы ей, Саадат, вымыли лицо.

В углу двора стояли вилы, Саадат подошла к ним, путаясь в длинной шубе, которую ей здесь дали, схватив, выставила вперед, села у сарая и стала ждать.

Из дома высунулась старуха, засмеялась и ушла обратно.

Снег все валил, перевал был скользкий, лошадь Саадат оседала на задние ноги. Мороз прихватывал, мокрые кольчуги и бурки обрастали сосульками.

На лошади везли только Саадат, похищенные живописец и служанки шли пешком. Ребо поглядывал по сторонам, посвистывал. Пока поджидали дозор, палочкой нарисовал на снегу коня и Хочбара без папахи. Глядеть на это было грех, но когда Шамша проехал на коне по рисунку, воины рассердились на него и стали кричать.

Смеркалось, и, когда дозорные закричали, что можно ехать и что нукеры на месте, а ханский сын стоит там, где закопана собака, все загалдели и заторопились.

Саадат была в большой шубе, обвязана башлыками, обледеневший в сосульках башлык свисал на глаза, и через эти сосульки она видела широкую тяжелую спину и бритую голову, с которой по‑прежнему струилась вода и застывала на воротнике, потом из снежной мути возникли нукеры в странных цветастых чалмах, один стоял в стороне без коня, двое нукеров спешились, вышли вперед и с поклоном подали что‑то Хочбару, остальные стали срывать чалмы, бросать их в кучу. Шамша потащил лошадь Саадат, нукеры со знакомыми лицами приблизились, они поспешно нахлобучивали тюбетейки, на них сверху папахи.

Еще несколько нукеров кричали, махали камчами, гнали навстречу отару овец. Выскочил Магома, заглянул Саадат в лицо, он что‑то кричал, не ей, а то ли нукерам, то ли гидатлинцам, мелькнуло лицо брата, потом сзади раздался свист и пронзительный не то визг, не то крик.

Когда она обернулась, то увидела, что гидатлинцы, нахлестывая, разворачивают на месте коней. Хочбар уже в папахе сидел на лошади неподвижно, играл на скрипке и тоже – не то что‑то пел, не то кричал. Потом взвизгнул, повернул, будто на хвост осадив своего тяжелого коня, и исчез за снегом.

Отара окружила их, спины у овец тоже были ледяные. Саадат подняла руку и ударила Магому в нос так, что у него потекла кровь, хотела ударить брата, но не посмела, такое у него было лицо.

Когда Хочбар подъезжал к аулу, из‑под копыт, проламывая наледь, стали подниматься устроившиеся на ночевку фазаны, их радужные хвосты замелькали вокруг, пугая лошадь.

Снег шел и шел во дворе нуцала, легкий и пухлый, он заполнял двор. Такой снег помнят только старики, женщины доили коров, они были возбуждены и громко переговаривались. Вынесенный на хозяйственный двор и забытый медный противень с вылепленными Магомой горами и перевалами обледенел. Чем ближе смотреть, тем похожей становились горы. В ущелье намело снег, вот засветились огоньки аулов, зашумела Койсу, заплескал далекий холодный Каспий, зашумел сухой камыш на его берегу. К темным перевалам со стороны Кази‑Кумуха, как и предполагал Магома, двинулись солдаты, волы потянули персидские пушки с тормозами, закричали пушкари. С другой стороны, от Хунзаха, тоже двинулись нукеры и вдруг нестерпимо ярким пламенем запылал пограничный аул. И раздался одинокий воющий женский крик.

В голубом весеннем небе ядра не видать, пронеслось, чавкнуло и упало, лишь белый перистый след. Туда ядро, обратно ядро.

Зарабазан выпалил в сторону перевала, из‑под деревянного лафета плюхнула весенняя вода, и нукеры послушали, как гудит ядро. За зиму они сдали, потрепались, поморозились.

Когда стрельба кончилась, от сгоревшего пограничного аула спустились двое нищих с крепкими мешками, собиратели ядер. Здесь снег сошел и расцвели маки, они искали ядра среди этих маков.

Ребо вынул камень, он покуривал трубочку и, сидя на корточках, слушал через черную дыру дымохода, о чем говорили старики внизу на совете у нуцала в кунакской. Звук был искажен, иногда говорили ясно, иногда речь переходила в бормотание, и ухо Ребо было в саже.

– Зачем ты слушаешь?

Ребо показалось, что из отверстия дымохода пахнуло жаром, это было колдовство, они не могли так неслышно подойти. Саадат и маленький нуцальский сын Кикан‑Омар уставились на него, было полутемно, и глаза их показались ему огромными. Ноги свело. Ребо попробовал поставить камень на место, проклятый камень не лез.

– Он не расскажет, если я не скажу, – сказала Саадат про брата, – они там, внизу, говорят о том, как довезти меня к новому жениху в Шуру, они хотят послать пятнадцать шумных свадеб, а меня дурно одеть, посадить на ослика и провезти незаметно, но одни жалеют этих пятнадцать невест, другие опасаются позора, если не доставят меня. – Саадат кивнула себе, подошла к черной дыре и послушала, мальчика она держала за руку. – Но зачем тебе все это знать! Ты, наверное, хочешь сообщить в Кази‑Кумух, как меня повезут…

По лицу Ребо тек пот, он заставил себя улыбнуться и показал глазами, что плохо понимает без толмача, но она только покачала головой. И маленький брат, подражая, покачал головой тоже. Он повторял ее черты, странно преломляя их, и был уродлив.

– Если я сейчас крикну, что ты слушаешь, тебя бросят в яму либо удавят ремнем. – Эмалевая пуговица на маленькой груди у нее прыгала, будто она долго бежала. Она протянула палец, дотронулась до его перепачканного сажей уха и показала ему.

– Я знаю, ты рисуешь лица, – вдруг быстрым шепотом сказала она, – покажи мне лица… Со мной будет брат, тебя не накажут за то, что ты говоришь со мной… Неси сюда лица, – она топнула ногой, и все трое в испуге посмотрели на дыру в дымоходе. Старческий голос вдруг оттуда прорвался ясно, он кричал о том, что всем следует умереть, но проложить саблями дорогу и доставить невесту. Саадат вдруг опять тронула Ребо за ухо. И несмотря на всю опасность положения, он вдруг почувствовал волнение совсем иного рода, такого он не испытывал много лет и считал, что не испытает более вовсе. Он кивнул, встал, заложил в дымоход камень, руки дрожали, ему было неприятно видеть, что они дрожат. Маленький брат с непомерно большой головой растянул широкий рот и улыбнулся. Лицо вроде бы не изменилось, но и сказать более, что он уродлив, теперь было нельзя.

Потом внизу, на галерее, стали один за одним выходить старики, молчаливые и взъерошенные, последним вышел нуцал, Магома дал ему серебряную тарелочку со снегом, нуцал взял снег щепотью и прижал к виску.

Когда старики ушли, он вздохнул и сказал Магоме:

– Как жить дальше, не понимаю…

– Остальные в другой раз, – сказал Ребо, он потел и сдул с верхней губы пот… – Мой бог разрешает рисовать мне лица, и я их рисую… И не вижу в этом плохого… Но твой бог запрещает тебе их глядеть…

– Ты дольше слушал у трубы, чем показываешь… – Саадат затрясла головой.

Губы ученика, перекладывающего листы, запеклись от простуды, Ребо все потел и курил трубочку, толстая служанка на лестнице время от времени тяжело, как лошадь, вздыхала и звенела наборной подвеской из русских медных грошей.

Лица чередовались со сценами горской жизни и возникали среди зарисовок оружия, крепостей и перевалов. Когда они вдруг появлялись, глядя прямо перед собой и будто им в глаза, Саадат и мальчик одновременно вздрагивали и оба очень одинаково закрывали ладонью рот.

На листе открылось изображение Магомы, а после Башира, Саадат и мальчик быстро зашептали что‑то про себя, на следующем листе была нарисована сама Саадат, и они долго глядели. Потом Саадат подула на лист.

Рисунки повторялись дважды – в фас и профиль, и Саадат ждала себя еще, но на следующем листе было просто дерево, орешник, большой корявый орешник, а внизу возле маленькая фигурка в белом башлыке. И еще человек в белом башлыке, молодой, почти мальчик, пухлогубый, крепкошеий, с широким плечом, ушедшим за границу рисунка.

– Это Мусалав, – вдруг сказал Ребо, – твой бывший жених…

Саадат опять подула на лист. Мальчик осторожно протянул палец и дотронулся до газырей на рисунке.

В следующую секунду на улице выстрелила кремневка, где‑то во дворе раздался крик, мальчик взвизгнул и отскочил. Толстая служанка Заза, так ее звали, схватила Саадат в охапку и потащила за собой, память о недавнем нападении гидатлинцев была слишком свежа.

С потолка посыпалась глина, очевидно, нукеры занимали места на крыше, и Ребо, пока ученик убирал рисунки, полез туда же.

Яркий дневной свет ослепил его, ему показалось, что яркие полосы возникли перед глазами из‑за того, что он вышел из полутьмы. Но это было не так, над Хунзахом от вершины к вершине снежных гор стояла радуга, и это было удивительно для здешних мест. На крышах домов вокруг было полно народу, стоял гвалт, гремели ручьи, было то редкое время дня и года, когда сам воздух будто звенит. Перед воротами посередине в проплешинах еще не стаявшего снега площади, широко расставив локти и слегка привалясь на бок, сидел на своей здоровенной белой кобыле Хочбар. Вокруг, распаляя себя, орали человек двадцать, двое нукеров наводили на него от ворот горбатую на деревянном лафете медную пушонку. У ног хочбаровской лошади была огромная лужа, и лошадь, и сам Хочбар отражались в ней еще более кривыми и могучими. Один из нукеров опять выстрелил из кремневки, Хочбар потянулся и плюнул в лужу.

Ворота между тем открыли, и Хочбар тронул лошадь, но, как только он подъехал ближе, сверху со стены на него метнули рыжую, тяжелую от сырости ловчую сеть. Все заорали. Нукеры попрыгали с лошадей, повисли на сети, мешая друг другу, они рвали его вниз и так и повалились все вместе с конем. Копыто разбило одному из них лицо, ослепленный, залитый кровью, он выбрался и пошел, не разбирая дороги, в воротах столкнулся с нуцалом, перепачкав тому бороду. Прибежал Башир и прыгнул в клубок копошащихся тел, распихивая нукеров, он отыскал под сетью лицо – увидел, заставил себя засмеяться, выбрался и приказал поднять.

Подняли куль. Мокрый снег закупорил ячеи сети, но тут же стал отваливаться, обнаружив голову, потом всю фигуру.

– Поднимите лошадь! – вдруг заорал Хочбар. – Вы, псы! Я приехал один на собственной лошади, вот что! Я не поднял оружия! Вы же нарушили закон и долг, вы можете надеть мою голову на палку и проскакать по всем аулам, и в каждом ауле вам крикнут, что вы схватили гостя. И плюнут вслед вашей лошади. Вот так, – и он плюнул через сеть. Нос у него был разбит, плевок не получился, и кровавая слюна повисла на ячее сети недалеко от лица.

Стало тихо, и в этой тишине слышно, как где‑то далеко мать зовет ребенка и возится, поднимаясь, конь, и в этой же тишине Хочбар пошел к камню у ворот, на ходу пытаясь стянуть сеть, но это не выходило, а длинная совсем намокшая сеть волочилась, загребая камни и куски глины. Хочбар споткнулся, упал на четвереньки, но встал. Башир вдруг завизжал, с криком «Ал‑ля‑ла!» разбежался и прыгнул, пытаясь ударить его ногами, но не попал и ударился о землю. Сесть Хочбар не смог, но часть сети с головы стянул. Теперь стало видно, как избито лицо и расшиблены губы.

– Я провезу твою дочь через перевал в Кази‑Кумух, – сказал он нуцалу, трогая языком побитые губы, – до самой Шуры и отдам новому жениху. Один. Без воинов и пушек. И клянусь матерью и родной землей под ногами, ни один волос не упадет с ее головы. Взамен твои руки никогда больше не протянутся к Гидатлю. Мы живем в одних горах, но наши горы не твои, нуцал.

После этого Хочбар начал кашлять и кашлял долго, видно, сильно ему намяли бока. И пока кашлял, с тревогой смотрел за своей лошадью. Нуцал вроде не слушал, смотрел на Башира, который, видно, сильно расшибся, падая на спину. Потом что‑то тихо сказал Магоме, кивнул и пошел в дом. Несколько нукеров с Магомой сняли с Хочбара сеть, саблю и кинжалы. Пока они это делали, мальчик подошел к хочбаровской лошади и резко дернул струну привязанной к седлу, теперь ощетинившейся щепками хочбаровской скрипки, и струна басовито и нежно пропела в воздухе, будто скрипка была цела.

Хочбар встал и в кольце нукеров пошел в глубь двора. С ямы там стащили решетку, Хочбар зажал нос и спрыгнул в эту яму.

В ауле закричали муэдзины, был полдень.

Вечером нуцал опять сидел у молодой жены, он приказал ей ходить взад и вперед и смотрел на нее, но мысли его были далеко и мешали. Когда же жена, утомленная этим хождением, заплакала, он крикнул на нее, хотел ударить маленьким кулачком по голове и внезапно ощутил желание. В это же время во дворе закричали, кто‑то, тяжело бухая окованными сапогами, пробежал по галерее.

Нуцал выругался и вышел.

Однорукий старый нукер с рассеченным когда‑то и теперь будто составленным из двух половин лицом, ждал его и сказал, что младший сын нуцала только что хотел вылить на голову Хочбара бадью кипятка и уже дотащил ее, но его увидели скотницы.

У ямы, где сидел Хочбар, толпились люди, и внезапно разбуженный, видно, Магома держал Кикава, тот лягался и пытался вырваться. Бадья валялась тут же. Морозило, и вода уже не парила. Когда сын увидел нуцала, он заплакал, сел на снег и завыл, как волчонок, подняв к небу большую голову.

Хочбар сидел в яме на корточках, опустив длинные руки меж колен, смотрел не мигая, так, что нуцал даже испугался, подождал, пока Хочбар мигнет. Из ямы несло теплом и смрадом, решетка обросла инеем.

Нуцал крикнул, чтобы все убирались, и сел у ямы тоже на корточки. Нукер с рассеченным лицом поставил у ног нефтяной светильник.

– Как ты считаешь, если с этой осени я не потребую от твоего аула то, что мне положено? – нуцал помолчал.

Голос внизу засмеялся и закашлялся.

– Уж конечно, не потребуешь.

Луна зашла, теперь в яме никого не было видно.

– У меня одна дочь, и у нее всего одна дорога, – нуцал хотел говорить твердо, чтобы этот там, внизу, переменился, но проклятый старческий голос выдавал, он застревал в глотке, и казалось, что нуцал сейчас заплачет, он еще посидел над решеткой, покачиваясь. Тот, внизу, в яме по звуку тоже покачивался, и нуцал чувствовал, что ненависть поднимается откуда‑то из живота и не дает дышать, и хотел спросить, как же все‑таки отнесется Хочбар, если на него вот сейчас выльют бочку кипятка, но вдруг передумал и, перестроившись, когда уже начал говорить, спросил:

– Как же ты… собираешься провезти мою дочь? – голос сорвался на середине фразы.

Хочбар повозился внизу.

– Видишь ли, у меня много дорог… Ты начал ловить меня, когда мне было четырнадцать лет, а поймал сегодня, – голос довольно хихикнул, – когда я сам приехал… Из этой твоей кунацкой я вижу только светлую дыру и твою красивую бороду, прикажи людям отойти…

– Я здесь один…

– Видишь ли, я зацепил тебя за ногу веревкой и довольно прочно…

Голос внизу говорил так убежденно, что нуцал даже глянул на свою ногу, но нога была вот, у светильника, и никакой веревки на ней не было.

– Ну что, посмотрел на ногу?! Хан не уберет пушки с перевалов, и шамхальский Улан подождет невесту, пока не растеряет зубы… Впрочем, девушки тоже стареют. И так быстро… Ее могу провезти только я.

В яме бухнуло, это Хочбар ударил себя кулаком в грудь.

– Оставь глупые мысли, – сказал он, – твоя дочь была у меня. Я бы давно мог стать твоим дорогим зятем, но я вернул ее, и такой же невредимой провезу и усажу на кумыкский ковер, у моря. Когда я вернусь, войны здесь больше не будет, потому что ты поклянешься мне в этом. А теперь прикажи своему персу починить мою скрипку и иди отдыхать. Ты стар, да и я хочу спать.

Нуцал еще подождал, но Хочбар там, в яме, молчал, только кряхтел, устраиваясь, потом там, внизу, звякнула миска. Отходя от ямы, нуцал поскользнулся – ночной мороз схватил разлитый кипяток – и упал бы, если бы не Магома. Магоме нуцал велел поставить у ямы пятерых нукеров и самому не спать и следить, чтобы оба сына, мало ли что, не покидали дома и не приближались к яме.

Поздней ночью нуцал вышел на крыльцо, нукеры в теплых, припорошенных снегом шубах, похожие на копны сена, дремали вокруг ямы, в морозном небе мигали звезды, над ямой стоял парок, там пронзительно и тревожно играла скрипка, и тоскливым воем ей из‑за стены отвечала цепная собака.

Утром, выезжая из Хунзаха во дворе нуцальского дворца, Хочбар взял рог с бузой и сказал так, как говорил его отец, а перед отцом дед. Так и начал.

– Я скажу то, что любил петь и говорить мой отец, а перед отцом дед, – и, пока говорил, играл на латаной своей скрипке, – пусть будет хорошо – хорошим, пусть плохо будет всем плохим, пусть час рожденья проклиная, скрипя зубами в маяте, все подлецы и негодяи умрут от боли в животе. Пусть кара подлеца достанет и в сакле и среди дворца, чтоб не осталось в Дагестане ни труса больше, ни лжеца.

На Хунзах сел туман, и скрипка Хочбара пронзительно звенела в этом тумане. Свадебный фаэтон был украшен лентами, и ленты уже успели отсыреть, как и скатерть накрытого во дворе стола. На крышах аула было полно народу, служанки в темном сидели в фаэтоне с угрюмыми и скорбными лицами. Саадат гладила по щекам Кикава. Когда она пошла к фаэтону и уже садилась на него, Кикав полез за ней, старая ханша с необычайным проворством перехватила его, но он уцепился за ленту, лента лопнула и ханша с мальчиком упали. Нуцал громко приказал, чтоб они ушли. То, что не то пел, не то кричал Хочбар, пугало нуцала непонятностью, он ловил себя на мысли, скорее бы все уже кончилось, и, как только Хочбар допил бузу, он махнул рукой, и музыканты заиграли.

Нукеры стали стрелять из ружей. Залаяли собаки, Хочбар встал и повел лошадь в поводу. За ним заскрипел фаэтон, волы потянули повозки с приданым. Музыканты, играя, шли следом, девушки снизу от ручья по знаку нуцала понесли полные кувшины навстречу процессии, из дома вырвался Кикав‑Омар, его опять схватили, женщины на ходу подвязали оборванную ленту.

На выезде из аула дорогу пересекла собачья свадьба. Нукер выстрелил в крупную пятнистую суку из лука, она с визгом побежала, таща в загривке стрелу, ошалевшие кобели, не отставая, бросились за ней.

Оркестр дудел из последних сил, на том месте, где еще недавно гидатлинцы снимали сторожей, Хочбар прыгнул в седло. Внизу гремела река, и Хочбар и фаэтон с лентами двинулись навстречу этому грохоту, оставляя провожающих и аул. Когда Саадат обернулась, она увидела дома и всадников, торчащими из тумана. Дальше дорога пошла вверх, и впереди Саадат видела тяжелую мощную спину, потом туман кончился, из‑за гор вдруг стало возникать солнце, будто садясь на хочбаровскую сырую папаху и длинный ствол кремневки.

Хочбар придержал лошадь, и только тут Саадат близко увидела, что лицо у него тяжелое, землистое и один глаз почти заплыл. Второй глаз смотрел спокойно и дружелюбно.

Лица у служанок были бледные, застывшие. Зазу мучила икота.

Неожиданно в не закрытом синяком глазу Хочбара возник интерес, и он долго, как бы удивляясь, глядел этим глазом на Саадат, потом резко свесился набок, так что голова его оказалась внутри фаэтона, Саадат показалось, что от головы несет жаром, и сунул под нос икающей Зазе голову змеи, та завизжала, но это была не змея – кончик плетки. Хочбар же засмеялся, выпрямился и выехал вперед. Саадат казалось, что жар от головы Хочбара так и остался в открытом фаэтоне, она незаметно понюхала воздух, но пахло сырой буркой. Заза больше не икала.

Хочбар ехал впереди, неправдоподобно огромные плечи покачивались, и солнце опять сидело то на одном его ухе, то на другом, то закрывалось переломленной папахой.

Потом Саадат показалось, что параллельно с ними по плоской вершине горы едут всадники, но дорога повернула, солнце стало светить со стороны этих всадников, и они пропали, будто растворились в лучах. То ли были, то ли не были.

Днем над Хунзахом, прижимая туман к земле, пошел мелкий дождь. Ребо и ученик выехали на пустырь за дворцом, чтобы показать нукерам, главное же нуцалу, стрельбу из немецких пятиствольных пистолетов, но ни нуцал, ни даже Башир не пришли. Седельные сумки с зарядами были тяжелые. Кривоногий нукер только улыбался и не желал заряжать стволы. Стоять под дождем и ждать, выйдет ли нуцал, было холодно и унизительно.

Дворец отсюда глядел слепыми в дожде окнами, и крыши, где еще так недавно было множество народу, были пусты.

Разряжать пистолеты было целое дело, и Ребо стал стрелять по мишени – старой шубе на шесте. Но заряды отсырели, и пистолет стрелял плохо. Под конец стрельбы один из стволов разорвало, и лицо у Ребо залепило пороховой сажей. Он взял пистолет под мышку и, вытирая платком лицо, не оглядываясь поплелся к дворцу. Нукеры остались на пустыре – стрелять из кремневок навскидку, они весело перекрикивались, и, хотя его не называли, Ребо понимал, что смеются над ним. Главное, было жаль пистолет.

– Горы здесь перекрывают человеку пространство и, суживая кругозор, обедняют душу. Поэзия чаще всего подобна речам хвастуна в застолье, – Ребо оглядел обшарпанный плоский Хунзах, дождь шуршал по нездешнему кожаному плащу с капюшоном и при повороте пролился с капюшона за воротник камзола.

– Я думаю, великий Данте… – он горестно махнул рукой в сторону Хунзаха и взял ученика под руку, начинался подъем, ученик всегда скользил на мокрых камнях.

– Ты знаешь, учитель, – ученик старался идти, как ходят горцы, но поскользнулся и сел, – я ослабел от этих пронизывающих до костей ветров, я давно утратил интерес к познанию и путешествиям и уж если мечтаю, то увидеть когда‑нибудь мою бедную матушку. Но ночью ты спал и не слышал, как этот огромный разбойник играл в зловонной яме на скрипке, – ученик кротко улыбнулся и, прикрыв глаза, подставил лицо дождю, – но его идеи так нелепы…

Сторожевая точка на шесте там, впереди, на темном склоне вдруг вспыхнула, ярко фыркнула, только тогда полез в небо черный дым. У шеста метнулась приземистая фигурка, путаясь в шубе, полезла на лошадь. Из‑за облезлой горы тоже повалил дым, вставал тонким черным деревом без веток. Так же пустынно было кругом, так же гремела внизу Койсу, орлы кружили, ни на секунду не изменив движение.

Огня на сигнальной бочке делалось меньше, а дыма больше. И опять заикала в фаэтоне Заза, и опять Хочбар обернулся и показал ей из‑под бурки плеть‑змею. Не заплывший синяком глаз его был насторожен и показался Саадат неправдоподобно большим, но через секунду она уже не смотрела на него.

С горы, сажая коней на хвосты, осыпая камни, с визгом съезжали ханские нукеры. Хочбар кивнул, будто сам себе сказал: «Наконец», – и больше не смотрел на фаэтоны, ехал впереди, не оборачиваясь.

Лакские нукеры в своих нездешних иранских кольчугах, в мокрых, обитых медью сапогах, окружили фаэтон, теснили потными лошадиными боками.

Бородатый десятник, сильно перегнувшись и кряхтя, развязал на крыше фаэтона веревку, скатанный кожаный полог, защита от непогоды, размотавшись, опустился, на голову Саадат посыпалась дорожная пыль, и внутри фаэтона стало темно, лишь яркий световой блин прыгал на лице молодой служанки – сестры Магомы и похожей на него – со щеки на нос, и щека и нос покрывались постепенно каплями пота, она подвывала, как щенок. Потом по звуку Саадат поняла, что фаэтон въехал в реку, в грохоте воды потерялись все остальные звуки, Саадат перегнулась, дернула служанку за ухо и через дырку в пологе попыталась что‑то увидеть, но в дырку вдруг просунулся палец, чуть не ткнув ее в глаз.

Ущелье было перегорожено от края до края сколоченным из бревен столом, бревна толстые, ширина – коню не взять, за столом один человек в голубой изношенной форме при рыжих, как медных, усах.

– Здравствуй, полковник…

– Здравствуй, Хочбар… – полковник показал рыжей в веснушках рукой на стол, – видишь, как я тебя встречаю…

На скале над ними догорает, чадит сигнальная бочка, всем любопытно, и промерзший нукер у бочки забыл про холод.

– Как твой дом, Хочбар, его еще не забрал нуцал?

– Не забрал, слава богу, а не залило твой дом соленое море?

– Нет, не думаю, слава богу, – засмеялся полковник.

Хочбар сморкнулся и подумал.

Полковник родом из далекой страны, где, как рассказывают, вода выше суши и где люди насыпают земляные холмы, опасаясь этой воды. Полковник правильно сделал, что уехал сюда, где вода всегда внизу. Так считают здесь, в горах. Но родину нельзя покидать, даже если аллах сотворил ее так неудачно. Так считают тоже.

– Почему ты смотришь одним глазом, Хочбар… Не хочешь открыть второй?

– А ты с тех пор все сидишь, полковник, никак не хочешь встать?

Десятник принес тяжелые и мокрые колодки, посмотрел на хочбаровские ноги, прикинул на расстоянии ширину дыр и остался недоволен.

– Правда ли, что ты привез к нам дочь нуцала? Ты хороший вор, Хочбар… Просто отличный вор…

– Не совсем правда, я везу ее в Шуру… У меня свой интерес в этом деле… Мы не голодны, лучше, если ты угостишь меня на обратном пути…

– Тебе на голову упал большой камень… Сними папаху, дай посмотреть.

– Один человек недавно брал мою папаху… Может, ты знаешь об этом?

– Горы живут олухами…

Пока они говорили, фаэтон отвели в сторону, затем на ровной площадке вокруг Хочбара заходили десяток конных нукеров, они хлопали арканами по земле, взвизгивали, присвистывали, сужали круг. Хочбаровскую лошадь теснили к бревнам стола.

Сторожевая бочка над ними упала, обломав шест, занятый событиями внизу нукер на горе пропустил момент, и бочка, разбрасывая уголья, покатилась вниз, так что и нукеры, и Хочбар разъехались. Когда же Хочбар обернулся, то увидел, что десятник разбивает топором опору стола.

Закрытый пологом, со скрученными, ссохшимися в пути лентами, фаэтон двинулся к проходу.

У ног хочбаровской лошади, поджигая прошлогоднюю траву, чадила головешка. Хочбар сидел, как любил сидеть, немного скособочась. Было тихо, и в этой тишине было слышно, как мочится конь Хочбара. Потом Хочбар вдруг свистнул и перескочил на лошади стол, там, где он еще не был разобран, и там, где никто, кроме него, перескочить бы не смог, и, не оборачиваясь, медленно поехал по ущелью, дожидаясь нукеров. И вдруг резко обернулся, вроде удивляясь, где же они.

Уже вечерело, когда в Кази‑Кумухе напротив ханского дворца сама собой выпалила небольшая медная пушка, это было удивительно, рядом никого не было, нукеры были в помещении.

Еще растревоженные вороны не успокоились на горах, еще двое десятников гнали пушкарей за пороховую яму пороть, когда сбегавшихся к площади людей поразило еще одно обстоятельство. По площади, украшенной свадебными лентами, ходила большая с белыми крыльями орлица, за ноги она была привязана к колесу, пыталась тащить это колесо через лужи, шипела и била клювом, не давая приблизиться. Удивленно поглядывая на толпу, торопливо прошли во дворец, ведя в поводу коней, нукер и десятник, который приносил Хочбару колодки. Стоило им войти в ворота, как на горе над Кази‑Кумухом ахнула другая пушка, на этот раз большая кулеврина, и туда, к горе, сразу же поскакали нукеры, торопясь и нахлестывая лошадей, прямо через аул. Кази‑Кумух был взбудоражен до предела, когда на его улицу въехали фаэтоны.

Хочбар остановился на площади против дворца. Полковник въехал во дворец, орлица протащила рядом с сапогом Хочбара колесо, забрызгав его водой, и ткнулась в длинный толстый столб, вкопанный в середине площади для состязаний, в мишень на конце столба лучники стреляли на скаку.

Потом вышел полковник, сказал Хочбару зайти и рукой поманил, но Хочбар покачал головой, что не пойдет, полковник потоптался, пожал плечами, велел заворачивать во двор фаэтоны, и, когда первый фаэтон проехал ворота, Хочбар наклонился и рассек ножом ремни, привязывающие орлицу к колесу, орлица ударила его клювом по руке, по бурке и вдруг стала медленно подниматься, таща за собой ленты.

На площади зашумели, в эту же секунду из ворот на конях вылетели пятеро нукеров, на полном скаку, поднимая брызги и грязь, тесня людей, пошли кругом вокруг столба, где стоял Хочбар, потом первый длинной ременной плетью захлестнул Хочбара за кисть руки, рванул, но Хочбар сам, перехватив, потянул его, другой ударил плетью по голове, раздался визг. От дома бежали еще нукеры, трое прямо на коней попрыгали сверху на Хочбара, норовя сбить с ног, у основания столба образовалась куча, потом из этой кучи совершенно неожиданно для всех возник Хочбар, без бурки, в войлочной рубахе, пнул кого‑то ногой, быстро и ловко, невероятно быстро для своей тяжелой фигуры, полез по столбу наверх. Его пытались схватить, но он ударил человека ногой в лоб, хрустнуло, это было слышно на площади, и человек кругом, захлебываясь от собственной крови, пошел по площади. По столбу били плетками, на сапог накинули аркан, но сдернули только сапог, и в наступившей тишине вдруг стало слышно, как сапог плюхнулся в лужу, как засмеялся там, наверху, отплевываясь, Хочбар. Потом стал кричать:

– Я один сопровождал женщин, только женщин… Вы пустили на них целую армию… Кто же из нас разбойник… Я приехал к вам сам, вы бьете меня плетьми. А ведь я вам гость… Может быть, правда, что лакцы перестали быть дагестанцами?! – и он засмеялся.

– Давайте стреляйте в меня, как в индюка… Чтобы эти выстрелы послушали и верхние, и нижние горы… Э, полковник, а что это на твоих заморских штанах кожаный зад… Я вспоминаю – ты лазил в мой аул… и тогда я кое‑что отхватил от твоих штанов, пришей на место, пожалуйста, очень тебя прошу… – Хочбар полез за пазуху, бросил вниз кусок голубого сукна и удовлетворенно оглядел площадь, полную людей.

Голубая тряпочка, распрямившись, легко скользнула над толпой, упала сверху на папаху старика, ее сняли, и тот, кто снял, мялся, не зная, что дальше делать…

– Вызови же меня и бейся со мной… Так делают у меня на родине… – Хочбар засмеялся, потер о столб разбитый нос на всякий случай, поднялся на столбе повыше.

Теперь со столба стал виден ханский двор, фаэтоны во дворе, люди вокруг, часть людей от фаэтонов смотрела на Хочбара, часть говорила с женщинами в фаэтоне, и полог на фаэтоне был поднят.

– Эй, хан, – вдруг напрягся, теперь уже срывая горло, закричал Хочбар, – рядом с тобой уже облизывается твой сын, а ведь в фаэтоне чужая невеста, я везу ее к другому жениху… Так кто же из нас вор?! Вызови же меня, Мусалав, и побрей усы! А лучше наведи на меня пушку и сбей ядром!

Хочбар вдруг напрягся и засвистел, но кровь сильнее полилась из разбитого носа.

– Если ты можешь жениться, то можешь и поднять саблю. Мужчина растет весь, а не по частям, а, Мусалав?!

И увидел, как фигура в белой узкой черкеске рванулась от фаэтона, через лужу побежала к воротам, как за ней побежала вторая фигура в такой же белой узкой расшитой черкеске, пытаясь перехватить и в первый раз ощутив, что побеждает, Хочбар улыбнулся, прижал разбитую кнутом голову к столбу и прикрыл глаза. Так, прикрыв глаза, скрючившись, слушал, как звонкий голос вызывает его, Хочбара, на все виды боя и на смерть. Когда же посмотрел наконец вниз, увидел ханского сына уже без черкески, черкеска лежала на земле у столба, и кинжал был воткнут в столб, и тяжело старческой походкой бегущего от ворот хана. И ханшу, и еще каких‑то испуганных людей, и, так же улыбаясь, глядел на нукеров, которые топорами принялись рубить столб под ним, и на молодого хана, который вырывал эти топоры. Когда столб накренился, Хочбар соскользнул пониже, чтобы не побиться совсем. Он упал вместе со столбом, стараясь, чтобы не придавило руки. На него навалились, подняли, поставили перед ханом, губы у хана побелели, а лицо стало такое красное, что Хочбар испугался, что хан сейчас умрет, и тогда ничего у него, Хочбара, не выйдет.

– С тебя сейчас сдерут кожу и без кожи повесят на воротах, – хану не хватало воздуха, чтобы кричать.

Хочбар кивнул на столб, лежащий теперь у ног, из столба по‑прежнему торчал кинжал Мусалава.

– Это помешает тому, что видели и слышали все, – Хочбар говорил негромко и даже примирительно, – тебе надо как следует подумать, и совсем о другом, прости меня за совет, хан.

На него накинули ремни и потащили во двор. Уже из двора он слышал, как сотник крикнул, что уже темно и не время и чтобы люди расходились до утра.

Кто‑то в толпе мяукнул, и старики и ханские сотники еще долго, гневно требовали, чтобы тот, кто мяукнул, и те, кто смеялся, вышли и показали лицо.

Этой ночью с Каспия подул теплый ветер, проносящиеся набухшие водой тучи часто проливались короткими дождями, всю ночь брехали собаки, и огромный растревоженный аул за всю ночь так и не отошел ко сну. Даже под утро, как бывает, когда в доме больной, часто открывались двери, обнаруживая неяркий свет, чувствуя тревогу взрослых, плакали дети. И хотя ханский дворец был погружен во тьму и светильники давно погашены, там тоже никто не спал.

В тишине скрипели двери. Уже начинался мутный рассвет, когда на галерее раздался крик и Мусалав в черкеске на голое тело и с кремневкой перепрыгнул со второго этажа во двор, две тени метнулись у коровника, одна, замешкавшись, выронила что‑то, это что‑то оказалось арбалетом с коротким железным болтом вместо стрелы, и Мусалав долго, едва не плача, кричал в темную теплоту хлева, что он знает, кто это был, что «тот, кто поднимет руку на моего врага, мой кровный враг на десять колен, потому что хотел меня опозорить…»

Но из хлева раздавался только шорох, Мусалав же не пошел лазить среди коров и барахтаться в сене. Погрозил отобранным арбалетом и выстрелил из него в землю на два метра вперед, подивившись силе удара, болт чавкнул и исчез в земле.

Хочбар сидел в яме. Постояв над ямой, Мусалав послушал, дышит ли он там.

– Иди спать, Мусалав, – сказал голос Хочбара из ямы, – я так думаю, больше никто не придет…

Голос помолчал и вдруг добавил, довольно хмыкнув:

– Кроме хана… Ему, я думаю, самое время…

Прибежала собака, завертелась у ног, нюхая решетку и ворча. Когда Мусалав поднял голову, над ним стоял хан. Хан тоже сел на корточки, пола расшитого халата поплыла в луже. И они посидели оба, отец и сын, поласкали собаку.

– Ты хочешь, чтоб я ушел, – сказал Мусалав, – но я прошу тебя не отсылать меня, – он поглядел хану в глаза и покачал головой.

И хан покивал, понимая, что тот не уйдет.

– И скажи, чтоб полковник и Али ушли из хлева и больше не прятались там…

Хан опять покивал.

– Хочбар, ты можешь есть, еда хорошая, – мягко сказал хан, глядя в черное отверстие, – зачем ты взялся за это дело, ведь вы с нуцалом враги…

– Нуцал обещал оставить Гидатль… Мы маленький народ и хотим жить свободно…

– Что ж, я понимаю тебя… Если б я был твоим соседом, я бы желал такого друга, – и хан мелко закивал, перехватив ставшие несчастными от унижения глаза сына, – ты не прав, Мусалав, могу я поговорить с гостем…

– Кунацкая у тебя хоть куда, – засмеялся голос из ямы, – хотя, пожалуй, почище, чем у нуцала, не так воняет…

– Нуцал сошел с ума, – хан собрал остатки самообладания и заговорил твердо, – он оскорбил моего сына, ты‑то видишь – мой сын витязь, потом доверил дочь разбойнику, Хочбар, почему он доверил тебе свою дочь…

– Мне кажется, что он поступил правильно, – ответил голос из ямы, – ведь завтра я провезу ее через Кази‑Кумух…

Собака лизнула в лицо, хан отпихнул ее так, что она взвизгнула, и посидел над ямой, не решаясь ни молчать, ни говорить, только открывая и закрывая рот.

– Иди спать, отец, – взмолился Мусалав, он говорил тихо, так, чтоб Хочбар не слышал. – Все, что ты говоришь – не то…

Но хан не вставал и все глядел в яму.

– Иди спать, хан, – сказал голос из ямы, – я понимаю, когда ты молчишь, вели покормить мою лошадь, принести мне скрипку и чистой воды… Нуцал был совсем не глуп, когда ты поймешь это, тебе станет легче… – потом голос вдруг засмеялся, покашлял и странно весело добавил: – Мы оба с тобой хотим, чтобы твой сын дожил до твоих лет, и оба должны позаботиться об этом. В ямах, которые вы, ханы, называете почему‑то кунацкими, мне почему‑то часто приходят особенно удачные мысли.

Мусалав вскочил и быстро пошел к дому, ударив по дороге о дерево арбалетом, стальная пружина еще долго зудела, пугая собак.

Этим же ранним утром, когда вороны стаями полетели кормиться на поля, Саадат парила ноги в горячей воде. Она кашляла и опасалась разболеться. Опять пошел дождь, вода с плоской крыши лилась в бочку под окном, потом к звуку льющейся воды присоединился еще звук, странный, похожий и не похожий на скрипку, и искаженно и сипло возникла та же мелодия, которую она слышала там, у отца, когда в яме на заднем дворе играл Хочбар.

В груди у Саадат сдавило, она прижала к груди подушку, но это не помогло, и тогда она велела Зазе не давать ей больше лепешек, потому что в Кази‑Кумухе не умеют делать тесто. В груди все поднималась странная тревожащая боль, от которой было трудно дышать, Саадат плакала, грела грудь и живот подушкой и ругала казикумухское тесто. Заза же закричала, что не в тесте дело, что все гораздо хуже, что Саадат просто не понимает и что это у нее болит душа. Заза вырвала вату из бешмета и стала просить, чтобы Саадат заткнула уши и скрипку не слушала, и сама попробовала закрыть ей уши ладонями, но Саадат ее оттолкнула.

Заза от страха заплакала, она знала Саадат и боялась ее.

По замыслу устроителей, состязание должно было быть стремительным, кровавый поединок искусно и незаметно подменялся праздником для народа, потехой, веселой и легкой. Котлы с бузой стояли так, чтобы их мог видеть каждый. Вместо обрубленного накануне столба был врыт новый, только что окоренный, желтоватый и влажный. Привязанные к нему пестрые ленты бились на ветру. На площади, крышах, даже орешниках – всюду были люди.

Фокусник‑перс показывал фокусы, хомабатцы в рванье и цветных масках на ослах, к которым были привязаны конские хвосты и приклеены лошадиные гривы, совкринские канатоходцы – все это для веселья, на которое хан не жалел денег.

Хочбар во дворе умывал грязные руки и лицо. Незаплывшим своим глазом он видел, что фаэтоны уже заложены, что женщины отжали и кое‑как выправили скрюченные и размокшие от вчерашнего дождя ленты и навязали новые, что в кунацкой накрывают столы, что Мусалав в белой узкой черкеске, бледный, с синими кругами вокруг глаз гневно расспрашивает о чем‑то старого нукера и пытается не выпустить из дворца двух зурначей. И гонит их пинками обратно.

В этот же момент молодой десятник то ли нарочно, то ли нечаянно уронил на голову нагнувшегося Хочбара пару тяжелых, схваченных железной скобой оглобель. Оглобли пришлись как раз на шею и сбили Хочбара с ног. Все, кто был во дворе, засмеялись. Хочбар тоже долго смеялся и, уже умывшись, взял за скобу оглобли, чтобы поставить на место, но вдруг неожиданно коротко и почти неуловимо для глаза ткнул ими в низ живота десятнику, и, когда тот завертелся, Хочбар поцокал языком и посоветовал не огорчаться, потому что десятник сможет теперь верно служить юному хану, когда у хана будет много жен.

– Хан будет доверять тебе, – крикнул он и пошел мимо притихнувших нукеров к воротам, не меняя доброжелательного выражения лица, и, шагнув за ворота и увидев наполненную людьми гудящую площадь, кивнул сам себе и сам себе сказал «хорошо». И, прикрыв глаза и грея на солнце лицо, стал слушать, как старый плечистый нукер, кланяясь хану и старикам и тоже улыбаясь всем своим темным дубленым и уж вовсе не улыбчивым лицом, объявил, что юный хан и гость поспорят сейчас, кто дальше плюнет. Лицо у Мусалава стало беспомощным. Опять заиграла музыка. Мягко кивали старики, Хочбар вышел на черту, плюнул и долго заинтересованно смотрел, куда долетел плевок. Плюнул и Мусалав и, не оборачиваясь, пошел назад, по дороге забрал у одного из нукеров длинную плеть и, проходя мимо, перерубил этой плетью дудку у музыканта. Потом повернулся и этой же плетью ударил старого нукера по голове так, что тот, охнув, сел на землю.

– Я выиграл в плевках, – крикнул Мусалав и засмеялся, – гость плюнул дальше, но я истратил больше слюны, – ты же не учел этого, собака, и представление, которое ты придумал, – он кричал это вроде нукеру, который все сидел на земле, – мне не подходит. Пойди и отдай ему свой кинжал, ну! – и он опять поднял плеть. Нукер посмотрел на хана и покачал головой, отказываясь.

Тогда Мусалав опять ударил его.

Нукер поднялся, потряс головой, с которой слетела папаха, посмотрел на хана и крикнул, что объявляется состязание в стрельбе из лука в мишень. На лбу у него вздулся рубец, бок был перепачкан, из черкески текла грязная вода. Объявив, он невидящими глазами посмотрел вокруг и, отряхивая мокрый бок, пошел к хану.

Из толпы мяукнули, так же как вчера, музыканты принялись играть как можно громче, заглушив остальные звуки.

Мусалав догнал нукера, отобрал кинжал, бросил его Хочбару и одновременно ударил Хочбара хлыстом по сапогам. Музыканты перестали играть.

Стало тихо. Было слышно только, как треплются на ветру ленты. Потом в толпе тихий голос мальчика вдруг длинно заговорил, расспрашивая о чем‑то мать. Прокричал петух.

Хочбар поглядел на собственный сапог, на кинжал, который держал лезвием к себе, поглядел на хана прямо в круглые неподвижные глаза и стал расстегивать черкеску.

Тяжело шлепая по лужам, подошли нукеры, помогли обоим раздеться до пояса, одни унесли одежду, другие повели к хану и старикам.

В спину дул холодный ветер, весеннее солнце грело лицо и грудь.

Хан смотрел прямо перед собой, и, только когда двое натягивали Хочбару на лицо черную папаху, почти повиснув на ней с двух сторон, и папаха наползала уже на глаза, Хочбар увидел глаза хана и белые губы, которые он пытался сжать.

Потом папаха сдвинулась вниз, наступила чернота, и в этой черноте постепенно исчезли звуки. Все, кроме тяжелого собственного дыхания. Папаху сверху затянули веревкой, так что веревка стянула голову ниже ушей. В руку вложили кинжал, Хочбар нащупал острие и кивнул сам себе и так же кивнул, когда ощутил горячее солнце с правого бока и встал так, чтобы оно грело грудь. Он сунул свободную от ножа руку под мышку, мокрой от пота рукой провел по груди, животу и так сделал несколько раз, оставаясь неподвижным с опущенным вниз кинжалом, только шевелил огромной от папахи и веревки головой.

Мусалав шел зигзагом, что‑то там казалось ему под завязанной его папахой, в это что‑то он пытался воткнуть нож и каждый раз попадал в воздух. Потом на секунду он перекрыл солнце, влажный живот Хочбара оказался в тени, и, тут же ощутив эту тень, Хочбар отбросил нож и прыгнул, рубанув вниз, как колесом, своими сцепленными огромными ручищами, повалил его и прижал к земле.

Несколько секунд они еще барахтались, потом Хочбар вдруг сел на корточки, ножом Мусалава разрезал веревку на свой папахе и стал тянуть папаху наверх, постепенно открывая подбородок со следом веревки, потное лицо и бритую голову.

Кричали хамобатцы, гудел оркестр, воздух был свеж и необыкновенно приятен.

Столетний орешник на краю площади треснул под весом людей. Обломилась ветка, и тут же весь орешник стал распадаться на глазах, обнажая гнилую желто‑черную сердцевину, оттуда неслись визги и смех. Мусалав, тоже потный и тоже со следом веревки на подбородке, посмотрел туда, потом на собственное отражение в небольшой лужице у ног, плюнул в это отражение и вогнал бы кинжал себе в живот, если бы сидящий рядом Хочбар не подставил ногу… Кинжал воткнулся в войлочную подметку. Оба попыхтели, вытаскивая его.

– У нас в Дагестане совсем не так много животов, – сказал Хочбар, – и среди них твой далеко не худший, хотя вчера, признаюсь, я думал по‑другому… Я бы хотел иметь такого кунака, как ты, мы бы много говорили и, может быть, лучше поняли бы друг друга, во всяком случае ты меня, – Хочбар встал и так постоял, пока разломавшийся орешник и то, что там происходило, перестало интересовать площадь, и тогда крикнул. От громкого крика он закашлялся и, кашляя, подождал, пока стало совсем тихо.

– Казикумухский молодой хан во время поединка вел себя как воин и боец. Был отважен и честен. А если кто‑нибудь считает не так, пусть выйдет и скажет об этом так громко, как говорю сейчас я, – он посмотрел туда, откуда мяукали, но было тихо.

– Музыканты, – крикнул тогда Хочбар, – мне кажется, что теперь вы можете играть громко с чистой совестью.

Хан махнул рукой, музыканты задудели что есть мочи, толпа закричала.

Через площадь они шли рядом, Мусалав чувствовал, как холодный ветер обдувает лицо, сердце в груди билось мощными толчками, и он почему‑то вдруг пожелал отдать жизнь за этого огромного гидатлинца с длинными, как у обезьяны, руками и даже хотел сказать что‑то в этом роде, потом испугался, что Хочбар говорил о нем не всерьез, и тоже захотел спросить, но не стал и лишь заставил себя придать суровое выражение лицу Ни о свадебном фаэтоне, ни о Саадат он не думал.

Хочбар по дороге что‑то пробормотал, что Мусалав не слышал, только заметил, что Хочбар сам себе кивнул головой. Уже подойдя к хану, они увидели, что тот глядит в землю, что он строг и соглашается с почтенными старцами, которые, перебивая друг друга, горячо говорили о том, что полковник совершил ошибку и, не зная обычая гор, обидел гостя, а также, превратно все доложив хану, поставил всех в неловкое положение.

Полковник плюнул, повернулся и пошел к площади, кожаная желтая отполированная седлом заплата на его штанах поблескивала на солнце.

К вечеру праздничные ленты на столбе обвисли и еле шевелились… аул успокоился, площадь была пуста. Буза и грузинское душистое вино сделали свое дело, половина музыкантов спали на своих местах, лишь трое, ужасаясь сами себе, пытались играть. С очень близкого расстояния лицо у полковника было совсем рыжим и добродушным, пахло от него молоком.

– Даже если твою родину вот‑вот зальет море, – мысли у Хочбара были крупными, казалось, их можно подержать на ладони, он поднял ладонь и посмотрел на нее, – ее нельзя было покидать. Я понимаю тебя, где найдешь такие горы, но все же?!

– Мою родину не зальет, – наконец выдавил из себя полковник и потряс перед носом Хочбара рыжим пальцем.

– Зальет, – успокоил его Хочбар, – если она ниже моря, не может быть иначе… Я бы проводил тебя, но, поверь, у меня такое важное дело здесь…

Мусалав, потный, разгоряченный, счастливый, что‑то говорил, говорил в углу сотникам. Хочбар вышел во двор, в светлом еще небе появились звезды, лохматая могучая собака, мученически закинув голову, подвывала музыкантам, на крыльце плакал пьяный полковник. Хочбару было жалко его.

Он вылил себе на голову кувшин воды, зачерпнул еще, с полным кувшином вернулся и громко объявил, что дорога у него дальняя и что на прощанье он хотел бы сказать то, что всегда говорил его отец, а перед отцом дед. Смочил музыканту лицо и голову, с сомнением поглядел на него и попросил играть самую простую мелодию. Потом налил себе в рог бузы и сказал:

– Пусть будет хорошо хорошим, пусть будет плохо всем плохим. Пусть, час рожденья проклиная, скрипя зубами в маете, все подлецы и негодяи умрут от боли в животе. Пусть кара подлеца достанет и в сакле и среди дворца, чтоб не осталось в Дагестане ни труса больше, ни лжеца!

Скалы, угрюмые и дикие, обрывались рядом с колесом фаэтона, там, внизу под облаками, гулко ревела невидимая река. Синее небо казалось ледяным.

Заза опять икала и тяжело дышала, открыв рот, ее испуг был неприятен, и Саадат нарочно показывала ей провалы между бревнами, составляющими полотно дороги. Через эти провалы ничего не было видно, кроме плотных, будто не проткнешь, облаков, и Саадат рассказала, что часто бывает, когда огромная рука поднимается оттуда и хватает за колеса фаэтоны, лошадей за хвосты, а пеших за горло.

– Такая длинная рука, – говорила она, – в черных перьях… А‑а‑ах, – она вдруг вытянула свою руку вверх и крикнула гортанно с шипением, лошадь дернулась, этого Саадат сама не ожидала. Заза икнула еще раз и, сомлев, опустилась на пол фаэтона. И долго не приходила в себя, как ни трясла и ни била ее по щекам Саадат.

Вторая служанка, сестра Магомы, закатила глаза и вжалась в угол, не принимая ни в чем участия.

А дорога между тем тянулась, непохожая на хунзахскую, папаха Хочбара покачивалась впереди.

Заза пришла в себя и сидела, сжав губы, как русский кошелек, внизу под облаками все грохотала река, и в этом грохоте невидной реки Саадат стали чудиться скорбные, тоскливые звуки, напоминающие чем‑то ночную скрипку Хочбара; она заплакала и плакала, испытывая странное счастье от этих слез. Заза громко рассмеялась и спросила, заметила ли Саадат, что от Хочбара пахнет весенним бараном. Саадат тут же согласилась, но плакать не перестала.

– У него маленькие злые глаза, – сказала Заза, – и короткие, как у кабана, ноги… По ночам он скрежещет зубами, и гидатлинцы кладут ему между зубов палку, – она прикусила себе кисть руки и показала, как Хочбар рычит и грызет палку.

И Саадат удивилась, что раньше не замечала, что у Зазы мелкие и нехорошие зубы, и сказала:

– Что у тебя с зубами, Заза, протри их солью…

Впереди возникла площадка, здесь пережидал встречный караван, и, как только фаэтоны съехали с дороги, караван двинулся. Низкобрюхие коротконогие лошади везли жирные черные бурдюки, пахло нефтью, и, покуда караван проходил, Саадат вглядывалась в незнакомые кумыкские лица и слушала незнакомую речь.

Потом подозвала Хочбара и спросила, о чем говорили кумыки.

Но он только удивился.

– О разном… У каждого свои заботы в дороге… Они не привычны к горам и страшатся их…

Неожиданно для самой себя она заявила, что Заза нездорова.

– Она млеет в пути и слишком жарко дышит, на ее место ты можешь положить тюк… Ты, правда, грызешь бревно по ночам?

– Правда, – Хочбар покивал, – поэтому у нас вокруг Хотады нет деревьев… Если ты обратила внимание?!

– Что ж ты грызешь тогда?! Хочешь, я тебе посоветую…

– Зачем? – Хочбар опять покивал, засмеялся и принес узел, узел был тяжелее служанки, и фаэтон просел на ремнях.

– Вообще‑то я грызу людские кости… – я сам слышал, как одна грузинка пела об этом своему ребенку, когда я спросил ее, она сказала, что так ей пела ее мать… Так что ты меня ничем не удивишь… Видишь ли, нам нравится жить немного иначе, чем остальные, но некоторые не могут нам простить этого.

– Возьми Коран. – Саадат протянула кожаную тисненую книгу. – У меня болят глаза, пожалуйста, прочти мне, чтобы я могла размышлять дорогой…

Хочбар долго смотрел, шевеля губами.

– Это не Коран, – сказал он наконец, – но то, что здесь написано, мне нравится. «Желтый лист упал в реку и плывет, но больше никогда не вернется сюда».

– Зачем ты везешь меня в Шуру, – вдруг крикнула Саадат, испугалась собственного крика, замолчала и тут же крикнула опять: – Что я сделала тебе плохого, что ты везешь меня в Шуру?

В углу площади, где ели кумыки, было много птиц, они вдруг разом поднялись в воздух.

– Ты хотела бы вернуться в Кази‑Кумух? – медленно и удивленно спросил Хочбар.

– Отнеси узел и верни служанку, – опять крикнула Саадат, – и стой от меня подальше, от тебя действительно немного пахнет весенним бараном… А я очень не люблю этот запах…

Теперь Заза больше не смотрела вниз, Саадат же на миг показалось, что черная скала, вылезающая из тумана, действительно напоминает руку, стремящуюся схватить ее, и она даже обрадовалась и показала служанке, а когда та взвизгнула, долго и зло смеялась. Дорога еще раз круто завернула, они обогнули эту скалу, и Саадат вдруг ахнула, потому что внизу открылась долина, горы раздвинулись, ушли в сторону и впереди их не было.

Саадат никогда не видела мир без гор, долина показалась ей враждебной. Они постояли и послушали гул ветра, грохота реки не было, и в реке отражалось вечернее небо.

Потом возница закричала, что видит людей шамхала, которые, наверное, ждут их. Далеко в степи они увидели костры и кибитки. Быстро темнело, от этого казалось, что костры горят все ярче и делаются все выше. Возница все кричала, что одна верила, что они проедут и что Саадат должна наградить ее.

Саадат ударила ее и велела замолчать. И всем закричала, чтоб замолчали и повернулись спиной, взяла хлыст и подождала, пока все не повернулись и не замолчали.

Странно и резко похолодало, ее знобило так, что она еле держала хлыст, и так с этим трясущимся хлыстом она подошла к Хочбару. Лошадь толкнула ее боком, но она стояла совсем близко, почти касаясь лицом сырого с разодранной подметкой сапога. Хочбар отъехал, она подошла и встала так же, чтоб он не видел лица.

– В этой долине разбегаются ветра, – сказала она, голос осип, не слушался, она покашляла, – здесь река течет без звука, я всегда буду думать, что я глухая. Увези меня. Что я сделала тебе плохого, что ты хочешь отдать меня? Что я сделала вам всем плохого, – она опять закашлялась, ее опять затрясло. И она опять встала поближе к сапогу и вдруг резко подняла лицо вверх, лицо было странное, белое, такое, что Хочбар испугался и стал слезать. Лошадь переступила, толкнула Саадат, она упала неловко на четвереньки, расцарапав руки, и тут же села и стала дуть на них. Хочбар стоял над ней, бурдюк на боку лошади развязался, и из него текла вода. Он отогнал лошадь, сел рядом на корточки и тоже подул на ее руки.

– Увези меня. Заза скажет, что я умерла в пути. Я могу быть тебе служанкой, и ты сможешь делать со мной что хочешь, – она закашлялась и долго кашляла, не поднимая больше головы, а когда стала опять говорить, то голос совсем осип, – ты столько раз крал девушек для выкупа, укради один раз для себя, если ты боишься моего отца, не бойся, он не станет нас искать, ему лучше поверить, что я умерла. Я рожу тебе сына или нескольких сыновей, разве это плохо?! – Она совсем было опустила голову, но вдруг закричала, чтобы служанки шли на место, подняла хлыст и стала кашлять. Служанки кричали Хочбару, чтобы он отошел и больше не смел подходить к госпоже. Вороны, устроившиеся уже на ночлег, поднялись и закружили над ними.

Хочбар приказал женщинам отойти и привязать новые ленты к фаэтону, прикрикнул, когда они замешкались, потом снял свою бурку, и накинул сверху на Саадат, и сел недалеко на корточки, опустив между колен свои длинные руки, глядя вниз, в долину.

В костер там, видно, что‑то подбросили, сухую траву скорее всего, и он пылал теперь огромным красным факелом, как странный кровавый глаз в темнеющей степи, и этот странный свет костра отражался и плясал в широко открытом черном не подбитом хочбаровском глазу.

– Ты только что смеялась надо мной, – укоризненно сказал он, – ты не хочешь к Улану, при чем здесь я и жизнь моих земляков. – Он помолчал, подыскивая слова, слов не было, одна пустота в голове и груди. – Чужие пролетные птицы заносят к нам в горы такие болезни, – так говорят старики, но потом к лету они проходят… Может быть, твоя служанка заболела и заразила тебя. – Он попробовал посмеяться и подождал, не засмеется ли Саадат. И обрадовался, когда она засмеялась тоже. И, уже когда пошел к лошади и взял кремневку, обернулся. Она сидела неподвижно, накрывшись буркой с головой, похожая издали на копну прошлогодней травы, не дернулась и не сняла бурку, когда он выстрелил вверх и когда внизу, в долине, в ответ забухали кремневки, поднялся отчаянный собачий лай, красными точками стали загораться факелы.

Потом эти факелы сбились в кучу и вдруг растянулись по степи – к ним скакали всадники.

Хочбару снилось, как его отец бреет ему голову и он с побритой головой, с неестественно оттопыренными ушами идет посмотреть на свое отражение в ведре, а кунаки отца едят мясо, отрезая длинные полоски у самого рта.

– Как вы там живете? – интересуется маленький Хочбар, вглядываясь в свое странное отражение.

– Где? – удивляются уздени и тревожно смотрят ему в глаза.

– Там, где вы сейчас, ведь вы все убиты… И вместо вас всех в Гидатле один я. – И вдруг пугается так, что роняет ведро.

Отец и Хочбар сейчас похожи, как две капли воды, но об этом Хочбару не дано знать.

На свадьбе Хочбар заснул, он спал, как сидел в седле, с прямой спиной, чуть опустив плечо, его избитое лицо во сне приняло насмешливое выражение, будто он всех обхитрил, тяжелые со сбитыми костяшками руки на коленях были сжаты в кулаки.

Русский офицер насыпал на крышку табакерки нюхательный табак и хотел пошутить над ним, но толмач отсоветовал и сказал шамхалу, что Хочбар спит.

Шамхал приказал не будить. Осторожно повесил на шею Хочбару большие заморские в черных крупных камнях часы и велел толмачу сидеть рядом и, когда тот проснется, сказать ему слова милости и привета.

– Когда‑то, – наливаясь кровью, крикнул шамхал, – мои предки были вот такими же, – он показал пальцем на спящего Хочбара, – тогда от нас дрожала земля, – и послушал, как толмачи, перекликаясь, переводят его слова на множество языков.

Иранские галеры на рейде запалили праздничный фейерверк, его белый судорожный свет выхватывал туманное небо, дым многочисленных костров в нем и запрокинутые лица гребцов с открытыми ртами.

Моросил мелкий дождь, чадили угли, длинные праздничные столы взрывались криками, тостами и пением. Ночь, несмотря на дождь, была теплая, почти душная. Плясали под бубны канатоходцы с маленькими обезьянками на плечах, в круг под натянутый канат вышли грузины и с шашками наголо долго танцевали свой воинственный танец, нежный и не похожий на войну.

Одна за другой выпалили длинные русские пушки, это был знак отхода молодых ко сну. Расстелили шаль, на которую следовало бросать деньги. Лицо у Саадат было закрыто, свадебный костюм напоминал башню, темную и жаркую, она почти ничего не видела, и не слышала почти ничего, и задыхалась от испарины, там, внутри этого кокона, и все же они прошлись в танце по этой шали. Под ноги князья, князьки, ханы и послы бросали деньги кто золотом, кто бумажками. Слуги вокруг вели строгий учет деньгам, дабы не потерять, и запомнить, и доложить. Ноги Саадат разъезжались на скользких от дождя монетах, она чуть не падала. Улан стоял крепко, ноги у него были тяжелые и не скользили, и руки сильные, и он, спокойно улыбаясь, бережно вел ее по этим деньгам. Еще раз ахнули орудия, пугая над морем чаек.

Незнакомые руки взяли Саадат под локти и повели.

Слуги сразу же подняли за углы и осторожно унесли отсыревшую в черных земляных пятнах белую шаль с деньгами. Старик казначей с колокольчиками еще долго ползал по земле, отыскивая, не затерялись ли где монеты, и громко звонил колокольчиком, чтобы гости пропускали его.

Старые кумычки с крепкими сильными руками раздели Саадат. Своих служанок она только на секунду увидела в дверях, их не пропустили, она видела, как Зазу выталкивают, хотела крикнуть, но в это время кумычка больно сжала ее колени, она дернулась и попыталась коленом ударить кумычку в лицо, но руки у той были твердые и сопротивляться им было нельзя.

Вдруг она почувствовала, что ее никто не держит, служанки исчезли, и вошел Улан. Лицо его Саадат не увидела, увидела только черную, заросшую неправдоподобно густыми волосами, будто шубой покрытую широкую грудь, которая надвинулась на нее.

Утром под огромными котлами раздували огонь невыспавшиеся с красными глазами слуги. За стеной мычал забиваемый скот и слышались глухие удары.

Хочбар уезжал, но, когда он сел в седло и тронул лошадь, дорогу ему перегородили четверо нукеров из дворцовой стражи в тяжелых медных шлемах, наплечниках и стальных кольчугах, крепкие и коротконогие.

Шел дождь, земля пропиталась водой, и по медным шлемам и наплечникам нукеров стекли тонкие струи.

Прибежал толмач и сообщил, что ханша хочет видеть Хочбара перед дорогой, и раскрыл над Хочбаром большой цветистый зонт. Под этим зонтом они пошли в сад, покуда они шли, Хочбар слышал за спиной тяжелое металлическое бряканье доспехов. У входа в парк стояли еще два нукера с кривыми персидскими саблями. Огромная собака вдруг вывернулась из‑за их ног, вцепилась Хочбару в бурку и рванула. Он схватил ее за загривок. Толмач раскричался, и нукеры отволокли собаку, но рука у Хочбара оказалась покусанной, а бурка порванной.

В саду он первым увидел Улана, тот стоял, широко расставив ноги с маленькой золоченой книжкой в руке, смотрел в нее и слушал грузинского мальчика, который пел, только потом Хочбар увидел Саадат.

Она велела Улану остаться, сама же пошла навстречу.

Улан крикнул, и за ней понесли зонт.

Мальчик‑грузин продолжал петь, Улан слушал его, все смотрел в книжечку, сверялся.

Край бурки разорван, висел клок, и это стало неприятно Хочбару. Он остановился, широко расставив ноги, и не пошел дальше, стараясь сохранить на лице невозмутимость и немного ироническое выражение.

Нукер с зонтом споткнулся, на секунду полотенце закрыло сад, а когда открыло – Саадат стояла близко. Лицо у нее было незнакомое, белое, рот большой, его удивило, что она так резко подурнела и изменилась. И он еще думал об этом, пропустив, что она уже говорит.

– Мне понравилось море, – говорила Саадат, – Темир‑Хан‑Шура намного красивее и богаче нашего дворца… Люди мужественны, но не так злы, ниже ростом, но приветливей… И образованность… Улан говорил со мной все утро, смотри, ему не нужен толмач, когда он говорит с русским или персом…

Теперь грузинский мальчик пел не только Улану. В расшитых заморских кафтанах, треуголках и с белыми тростями, изогнувшись и тоже улыбаясь, стояли иностранцы.

– У него сильные руки, он утомил меня, но я не сержусь, – она говорила, ни разу не моргнув, от всего ее облика повеяло такой силы ненавистью, что Хочбар открыл рот.

– Закрой рот, а то в него влетит птица с моря. Ты будешь жевать перья и ничего не сможешь пересказать отцу.

Позади нее Улан, видно, что‑то сказал иностранцам в нелепых чулках, и теперь они с любопытством и восхищением разглядывали Хочбара. Мальчик все пел.

– Я была больна в дороге, – быстро и резко сказала Саадат, – утренние туманы в горах бывают ядовиты. Ты же неосмотрительно вез меня. – Она засмеялась, и Хочбар засмеялся тоже.

– У тебя красивый сад, – сказал он, – я расскажу нуцалу.

Глаза у Саадат сузились.

– Будет лучше, если мои слова передаст кто‑нибудь другой. Видишь ли, нуцалы не любят сидеть на корточках у зловонных ям. И просить о чем‑нибудь узденей. Это всегда кончается плохо, для узденей конечно. Иди. Стой. У тебя разорвана бурка, тебе дадут новую, эту оставь, – что‑то в лице Саадат изменилось.

– И это хорошая бурка, – Хочбар неторопливо повертел головой, – спасибо тебе, я пойду. Прощай и ты, Улан, пусть бог даст тебе всего хорошего, – и, повернувшись, пошел к выходу.

Мальчик‑певец сбился на секунду, начал выше и пропел те же слова. Дождь припустил сильнее, слуга нес зонт неловко, и вода попадала Хочбару на лицо. У калитки Хочбар вспомнил, подобрался и, как только вышел, тут же ударил собаку сапогом под вздох, так что та взвыла.

За оградой гнали отару. Он, не оборачиваясь, пошел прямо сквозь эту отару и, садясь на лошадь, услышал, как одна за другой заахали пушки, возвещая начало нового свадебного дня.

Выехав в степь, он сразу пустил лошадь вскачь и стал хлестать ее, а потом поднялся на стременах и завизжал, как визжал в набегах, пугая врагов. И так скакал, пока не выбился из сил.

Тогда он свернул к кочевью, заехал туда и спросил, нет ли в кочевье лекаря, чтобы пустить кровь.

– В Шуре я ел рыбу, к которой не привык, и у меня болит здесь, – он показал на грудь и, обнажив могучую руку, стал ждать, пока женщины принесут таз, а лекарь выправлял нож на камне.

Черная кровь сначала закапала, источаясь мелкими брызгами, потом струей потекла на дно таза.

Боль в груди успокаивалась, и наступал покой.

Папаха Хочбара висела на гвозде у двери. Над Хотадой была гроза, и, когда за открытой дверью гремело, папаха покачивалась. Несмотря на сплошную пелену дождя, день был белым.

– Вода в море горькая, – рассказывал Хочбар, – удивительно, но я не попробовал ее…

– Почему же ты не попробовал? – спросил мальчик, который когда‑то кормил сокола.

Хочбар пожал плечами.

– В море плавают огромные рыбы, но я не видел их.

– Почему же ты не постоял на берегу и не посмотрел…

– Их не было видно. Наверное, надо очень долго стоять…

Они оба замолчали и оба уставились на часовую стрелку подаренных шамхалом часов. В часах наконец захрипело, и они стали бить. Мальчик заулыбался, Хочбар встал и пошел пить воду. Часы вызванивали мелодию, странную и непривычную. Хочбар взял скрипку и, когда часы перестали бить, повторил мелодию.

– Ночью они играют громче, – сказал мальчик, он закрыл глаза и стал кончиками пальцев ощупывать себе лицо, – знаешь, когда в Кази‑Кумухе я привязал к колесу белую орлицу и стал убегать, меня поймал слепой старик, он принял меня за внука, ощупал мне пальцами лицо и тогда понял, что я не внук. Я думаю, как можно понять пальцами?!

– Если человек не видит, его пальцы делаются чуткими и уши лучше слышат. Закрой глаза как можно сильнее – и твой слух скоро обострится.

Они оба закрыли глаза и немного посидели. Дождь гудел за дверью как гудел, потом за дверью зашлепали шаги.

Сначала в дверь заглянул молодой уздень, убедился, что Хочбар здесь, обернулся, позвал.

Промокший, с серым усталым лицом, вошел во двор Науш, десятник, заглянул в дверь и отказался войти.

– Молодая Ханша вернулась из Шуры, нуцал ждет тебя за праздничным столом, – Науш с сомнением оглядел двор и присвистнул, – нам говорили, что Улан щедро наградил тебя… Заза, служанка госпожи, моя сестра, – он вдруг улыбнулся, обнажив мелкие, нехорошие, как у Зазы, зубы. – Этот кинжал тоже от Улана?..

– Нет, это грузинский кинжал… И поэтому я могу подарить его тебе… Как здоровье госпожи, Улана и всех других?..

Науш опять засмеялся, поглядел рукоятку подаренного кинжала, остался доволен и, выпучив глаза, уставился в вдруг ставшие больными глаза Хочбара.

– Когда мы с Зазой были детьми, у нас в доме была большая собака, очень большая и очень сильная… Теперь таких нет. Волки подослали к ней весеннюю волчицу. Собака побежала за ней туда, где ее ждала целая стая, и мы нашли только ошейник…

– У вашей собаки сточились зубы, – сказал Хочбар, – и она была глупа.

– Оставь зубы в покое, – Науш обозлился, – когда Заза говорила мне это, рядом стояла ханша. Заза много рассказывала мне, как вы ехали в Шуру…

– Зайди… – попросил Хочбар, – переночуй у меня. Я велю зарезать барана, – чтобы было не заметно, как у него задрожали руки, он обхватил ими собственные плечи.

– Как тебе показалось, довольна ли ханша, как я провез ее? Знаешь ли, это было не совсем просто… И причинило ей ряд неудобств… Какое у нее было выражение лица? Мне это важно, чтобы понять, хорошо ли я исполнил просьбу нуцала? Как показались ей горы после такой ровной степи и как ей теперь кажутся люди с не раскосыми глазами, – Хочбар попробовал засмеяться. – По вкусу ли ей рыба? Когда мы ехали, они с твоей сестрой придумали, что от меня пахнет бараном… Но ведь бараном пахнет от всех сырых бурок… И от твоей тоже, – он замолчал и уставился на Науша.

– У молодой ханши было лицо, – сказал Науш и подумал, – знаешь, очень злое, и про Хунзах она сказала, что после Шуры это деревня… И что дом мал… Она выучилась говорить по‑кумыкски, – он вдруг быстро взглянул на Хочбара, – нуцал зол, и она в него. Когда Заза говорила про тебя, ханша раскричалась, хотела побить Зазу, а потом велела мне предупредить ваш джамаат, чтобы тебя не пускали в Хунзах…

– Подари мне еще что‑нибудь, и я поеду. Нуцал не любит, когда мы долго говорим с теми, кого не любит он. – И, когда Хочбар пошел в дом, добавил громко и с вызовом: – Нуцал покрасил дворец в цвет неба, персидская краска – дорога, но люди едут даже из Дербента, чтобы посмотреть…

На рассвете следующего дня Хочбар уезжал из Гидатля. Ручей на выезде, через который когда‑то Хочбар с мальчиком несли мертвую собаку налился дождями. Хочбар перегнал через него большого черного быка, двух коней под высокими грузинскими седлами, баранов он перенес на руках, понюхал после этого ладони и локти и стал мыть их в воде.

Со стороны аула раздались крики, залились собаки, двое конных догоняли его, были оба без седел и без оружия, судя по всему, только проснулись. Хочбар, ласково чему‑то улыбаясь, подождал их на другой стороне ручья.

– С тех пор как лакцы разгромили Цудахар, – сказал Лекав, он спрыгнул с лошади, сел на корточки и попил из ладони, – мы единственный вольный аул. Нуцал сдерет с тебя кожу, натянет на большой барабан, и с этим барабаном мы будем спорить, давал нуцал слово или не давал.

Они помолчали, послушали петухов в ауле.

– Ты все время улыбаешься, – вдруг крикнул Гула, – ты стал похож на дурачка, в кунаки себе ты выбрал мальчика. Но кому нужен твой бык?! Тебе нравилась моя грузинская скрипка, вернись, возьми ее… У Али родился сын – толстый, как бочонок, и уже с одним зубом… Ты даже не зашел к нему.

Гула молча и осторожно тоже напился воды.

– Я вернусь через два дня, – медленно сказал Хочбар, – говорят, нуцал покрасил дворец в голубой цвет. Я хочу посмотреть. А иноземец в лисьей шубе, которого ты, Гула, спутал с ханшей, изобразил там разные диковинные вещи. Их я хочу посмотреть тоже…

Гула прыгнул на лошадь, прогнал ее через ручей и преградил дорогу.

Хочбар опять чему‑то улыбнулся и покачал головой.

– Я сам хозяин своей головы, – сказал он, – десять лет она была у меня очень умная, такая умная, что перехитрила меня остального. Я сам себя перехитрил, понимаете?! И от этой мысли я улыбался все время. Теперь я решил поступить как‑нибудь иначе, и от этой мысли у меня весело на душе. Уберись с моей дороги, Гула, ведь я все равно проеду. – Хочбар тронул лошадь, и когда проезжал мимо давшего в бок Гулы, то больше не смотрел на него. И опять улыбался. От этой улыбки Гула поежился и испуганно и печально обернулся к аулу.

Со стороны аула всходило солнце, уезжающий Хочбар с быком, конями и баранами попадал в тень горы.

– Эй, Гула, а как ты понял, что везешь не ханшу, а иноземца? – Хочбар обернулся и захохотал: – Мне рассказывали об этом очень смешную вещь.

– Он говорит просто так, – сказал Лекав, – он придумал что‑нибудь. Хочбар, ты придумал что‑нибудь? Не говори, кивни…

Голова Хочбара в тени кивнула, и оба они обрадовались.

– Никто никогда не посмеет сказать, что Хочбар испугался ехать, – от возбуждения Лекав поднял кулаки и топнул ногой, нога попала в воду и обрызгала лицо.

– Ты преувеличиваешь, – сказал Гула, – там все будет в порядке.

Хунзах открылся сразу, стоило только выехать из‑за горы. Дым и пар образовывали марево, и очертания голубого теперь дворца теряли в этом мареве четкость.

Ахахах – бил там барабан, музыка пропадала из‑за расстояния, оставался только барабан. Хочбар остановился и стал глядеть туда вниз, но бык и бараны ушли далеко вперед, и он тоже заторопился. Из ущелья один за другим выехали пятеро нукеров и, не меняя ритма движения, затрусили сзади, десятник кивнул Хочбару, двое огрели лошадей плетками, взвизгнули и, обгоняя и тесня друг друга на неширокой дороге, ускакали вперед. Дорога кружила, и Хунзах разворачивалась под ними.

У въезда, между саклями, в ряд выстроились еще пятеро. Конь к коню, колено к колену, кремневка поперек сёдел. Хочбар остановился, бык не торопясь пошел вперед, дошел до строя, его ударили плетью по голове, он пошел в сторону и уткнулся в каменную стену. Улица была пустой, людей на крышах не было. Раздался топот, приехали Магома и Башир, Магома кивнул, Башир – нет. Оба втиснулись в ряд. Бараны пили из лужи. Теперь была слышна музыка, хотя барабан все равно вылезал. Хочбар кивнул сам себе, как всегда кивал своим мыслям, положил кремневку поперек седла, как у тех в строю, повернулся и поехал обратно. Трое там, на дороге, переругивались, не зная, что делать. Башир сзади что‑то крикнул, Хочбар не обернулся и на топот копыт.

– Эй, Хочбар, – позвал сзади знакомый голос, – здравствуй, Хочбар…

Нуцал был в праздничных одеждах, ноздри тонкого носа раздувались от волнения и быстрой езды. Теперь нукеров там поприбавилось.

– Когда мне рассказали, что Науш привез от тебя красивый кинжал и дорогое ружье с насечкой, я, признаться, плохо подумал о нем. Науш – большой выдумщик, он, к примеру, сказал, что ты все время улыбаешься, но я не вижу этого.

– Бывает, люди ошибаются, нуцал. Науш сказал, что ты теперь живешь в голубом дворце, но я не вижу этого. Вместо дворца я вижу твоих нукеров, которым кажется, что они могут схватить меня.

– Они боятся тебя, Хочбар, это правда. Даже твой черный бык пугает их. Сойди с коня, отдай кремневку и саблю и, клянусь, ты увидишь мой дворец и тебе будет тепло в моем доме.

Несколько секунд Хочбар думал. Бык опять пошел вперед. На этот раз строй раздался, Хочбар тронул лошадь и въехал в образовавшийся коридор. В эту же секунду его ударили поленом по голове. Он успел тоже ударить кого‑то кулаком, но на него навалились. Нукеры один за другим прыгали в свалку. Башир с кремневкой стоял над кучей барахтающихся тел, и, когда оттуда, из этой кучи, стал вставать Хочбар, хотел выстрелить, но опять появился нукер с поленом и опять ударил Хочбара по шее и голове.

Быстро нахлестывая быков, подогнали арбу. Четверо взвалили на нее связанного Хочбара, рот у Хочбара был заткнут и обвязан башлыком. На арбу взвалили хворост, положили мешки. Десятник сел сверху, все делалось в тишине. Покалеченный в драке нукер пытался кричать, и ему тоже заткнули рот. Потом быков погнали в Хунзах, пятеро шли, почти бежали рядом с арбой.

Через ветки хвороста Хочбар видел бурку бегущего рядом человека, иногда бурка отставала, тогда в глаза бил свет. Неожиданно возникла ярко‑голубая стена, огонь, часть закопченного котла, незнакомые лица, опять голубая стена с кусками странного узора. Бил и бил, давил на уши барабан. Арбу тряхнуло, она остановилась, и совсем недалеко Хочбар увидел одного из иностранцев, который был в саду Улана в Шуре, его ноги смешные в чулках и толстых пыльных ботинках, мелькнуло странно‑счастливое лицо иноземца, которого зимой украл Гула. Иноземец что‑то говорил, говорил человеку в чулках. Рядом в костер подбросили березовые поленья. Пламя охватило котел, и Ребо вдруг перестал говорить и уставился прямо перед собой.

Из арбы, доверху нагруженной хворостом и мешками, из‑под сидящего на мешках человека Ребо вдруг увидел человеческий глаз с кровавой каплей на верхнем веке, и яркий огонь горящих березовых дров пылающей точкой отражался в этом глазу.

Над Хунзахом ярко светили звезды. И догуливающая уже свадьба кричала, плясала и палила из седельных пистолетов в то время, как нукеры, твердо взяв под руки, разводили и расталкивали хмельных и задиристых гостей. Заливали на ночь костры под котлами, и пар шипеньем и свистом устремлялся к высокому небу, молочно‑белый на фоне темных гор.

Назавтра Ребо и ученик уезжали отсюда навсегда, и сундуки и седельные сумки были уже заперты немецкими стальными замочками, сейчас же здесь, наверху, в башне, вместе с приезжими голландцами они наслаждались трубками и беседой.

На лестнице загремели тяжелые ноги и забрякала медь кумыкских доспехов, пожилой кумык распахнул дверь и пропустил Саадат, Кикава и Улана.

– Покажи нам лица, – сказала Саадат и кивнула на Улана, – он не видел…

– Я больше не рисую лиц, госпожа.

Она увидела, что он испугался, приказала кумыку выйти.

– Я больше не рисую лиц, – опять повторил Ребо, чувствуя, как лицо, шею, даже руки заливает пот, – я их сжег… Я хочу увидеть свою страну так же, как ты захотела увидеть Хунзах, а после захочешь увидеть Каспий.

– Кто тебе сказал, что я хотела видеть Хунзах?

Они постояли и послушали, внизу начиналась хмельная драка, чей‑то голос не то кричал, не то выл.

– Сын Уцмия‑Ахмеда Каракайтакского упал задом в костер, – сказал Улан, глядя в окно, весело засмеялся и по‑голландски сказал, что ему здесь скучно и что сухой воздух раздражает грудь…

– Покажи, что ты показывал нам во время большого бурана, в этом нет греха, – велела Саадат.

Лицо у нее было белое, будто обсыпанное мукой, губы яркие, – Ребо вдруг со страхом подумал, что что‑то здесь, в Хунзахе, сегодня нехорошо, и вспомнил глаз, смотревший на него из‑под хвороста.

– За маленькие картинки с тебя не сдерут кожу…

Пока Ребо прилаживал вокруг светильника пергаментный круг с прорезанными в нем картинками, зло засмеявшись, добавила:

– Когда был большой буран, нянька рассказывала мне: ты стоял на коленях и говорил, что, как только дороги освободятся, тебя не будет здесь… Вам всем не нравится моя страна, что же вы делаете здесь?! Скажи мне, почему люди не делают того, что хотят, и правильно ли это?

Она говорила резко и с таким напором, что Ребо опять испугался, на счастье, круг от тепла светильника завертелся, ученик заиграл на маленькой дудочке, и по беленым стенам комнаты понеслись фигурки всадников и быков, верблюда и орла, который гнался за лисицей. Ученик все играл на дудке, Ребо сменил диск, теперь человек бежал за папахой, которую сдул ветер, и никак не мог догнать ее, у него на редкость были длинные руки, широкие плечи и небольшая голова, и чем он быстрее бежал, тем больше вдруг напоминал Хочбара.

Саадат дунула на светильник, пламя легло, и фигурка остановилась, вытянув руки. Потом круг опять завертелся.

– Науша десятники днем выпустили из ямы и повезли на телеге домой, – громко сказал Кикав и счастливо засмеялся, – но никто не знает, кто сидит в яме. – Он тоже подул на огонь. – Этот длиннорукий… Он приехал с большим мешком что‑нибудь украсть… Отец сам схватил его… – Кикав гордился и отцом, и вниманием к себе. – Он сидит в яме со своим мешком на голове. – Он тоже дунул на светильник, и огонек погас.

Ребо стал зажигать свечу, в это время в комнате раздался крик мальчика. Свеча наконец зажглась, от нее светильник, и Ребо успел увидеть в дверном проеме выходящую Саадат, посмеивающегося и позевывающего Улана и испуганного Кикава, который, скривившись, смотрел на свое плечо.

– Она уколола меня иголкой, вот сюда, – сказал он Ребо, – посмотри, не осталась ли в плече иголка, – и заплакал.

Пониже Хунзаха располагалась каменная круглая площадка, испокон века здесь забивали скот. Узкая дорожка, ведущая из аула, легко заваливалась бревнами, тогда выхода с площадки не было и скот не мог разбрестись. Вокруг площадки был крутой каменистый и глубокий обрыв. Сейчас здесь горел большой костер, огонь уже набрал силу, пламя ровно гудело, и вершина пламени отрывалась иногда, улетая вверх в черноту ночи.

Нукеры ходили вокруг огня полураздетые, лили на себя воду из бурдюков, ругались. Те же, кто стоял у тропы, мерзли и тоже переругивались, завидуя тем, кто у огня.

Ночь было холодная. Несмотря на яркий костер, лица у людей все равно были серые, хотелось спать. В стороне гор ночь была черна, в другой – светились редкие огоньки аула.

Хочбара привезли спеленатого, как куль. Кровь запеклась на лице, и лицо казалось черным.

Нуцал, зябко поеживаясь, глядел на огонь. Магома и еще двое пытались поставить Хочбара, но он падал. Наконец его поставили, только после этого развязали ему одну руку и Хочбар сразу же попытался принять привычную свою позу, чуть набок, но упал, и нуцал приказал развязать вторую руку. Серьезно пожевывая губами, глядел, как тот тяжело поднялся с четверенек.

Привели хочбаровскую белую лошадь, и Магома быстро и ловко перерезал ей глотку Лошадь вздохнула громко, как кузнечный мех.

Все посмотрели на Хочбара, тот смотрел на лошадь, потом поморщился и уставился на нуцала. Подошел Башир. Он был не сонный, наоборот, все раздувал ноздри, улыбался короткой мимолетной улыбкой, руки у него тряслись. Ему передали кремневку и саблю Хочбара, он пересек площадку, бросил их в костер. Посмотрел в сплошную стену желтого огня, но ничего не увидел и стал тереть слезившиеся глаза. Только сейчас Хочбару удалось принять свою привычную позу, хотя из‑за связанных ног она не казалась естественной и была нелепой.

– Я обещал, что тебе в моем доме будет тепло, – сказал нуцал, и не то засмеялся, не то покашлял, – я был бы рад иметь такого сына, как ты, но пойми меня, я хозяин над своим народом, ты же вносишь во все такую путаницу. – Он еще помолчал, будто вслушиваясь в свои слова, будто они остались здесь в воздухе. И, послушав, сам согласился с ними.

– У стариков плохой сон, заботы, обиды… Я немного размышлял, и ведь знаешь, за эти пятнадцать лет я все время просил тебя о чем‑то, уж так противоестественно сложились наши отношения… Даже сейчас, когда нам обоим осталось немного – мне из‑за старости, тебе из‑за глупости, – получается, что я опять прошу тебя. Твой Гидатль находится в моих горах, он плохой пример для моего народа, пойми меня, я не могу оставить своему сыну ханство с такой болячкой на лбу… которую не закроешь папахой. – И он опять послушал, встревожился и позвал: – Хочбар, эй, Хочбар, – и успокоился, когда понял, что Хочбар его услышал.

– Ты не отвечаешь, – сказал он, – между тем ты можешь говорить… ведь мы не на площади, а нукеры не болтливы…

Неожиданно грохнуло, это в костре выпалила хочбаровская кремневка. Как шмель, прогудела пуля, напряжение людей передалось лошадям, нукеры долго не могли успокоить коней, и нуцал прикрикнул, но шум на тропинке у завала не успокоился. Магома с камчой пробежал туда. Слышно было, как он что‑то кричит там, сначала по‑аварски, потом по‑кумыкски, теперь все глядели туда, кроме Хочбара, тот то тряс, то качал головой, пытаясь вернуть ей ясность, потом на площадку стали въезжать кумыки, и огонь сразу же заплясал на медных наплечниках. Магома ругался, дергал коней, но ударить боялся. Кумыки были хмельны, громко шутили и смеялись. Когда на площадку въехал фаэтон, Башир побежал туда, ударил в зубы кучера и стал стегать лошадей, разворачивая, но из фаэтона вылезли Саадат и Кикав, нуцал крикнул Магому, мигнул, нукеры разрезали веревку на ногах у Хочбара, один стал быстро лить воду из бурдюка ему на лицо, смывая черную корку из запекшейся крови и грязи. Неожиданно Хочбар опять сел на землю, но тут же встал. На площадку въехали еще трое кумыков и Улан в меховой пушистой накидке. Нуцал крикнул, что рад его видеть, что у него здесь небольшой разговор со знакомым ему гидатлинцем Хочбаром, ибо народ давно уже считает, что Гидатль должен перейти под нуцальскую руку, и гидатлинцы так считают, Хочбар же упрямится, творя тем самым нуцалу сложности, а народу обиду. И что спор этот они перенесли сюда, не желая беспокоить домочадцев.

– Но мне кажется, мы вот‑вот придем к соглашению, – сказал он.

Нукеры бросили в костер еще сучья, и огонь опять загудел ровно и сильно, ярче высвечивая площадку, телеги и голову мертвой хочбаровской лошади с белым вывернутым к небу глазом.

– Я говорю верно, Хочбар?

Хочбар зажал голову рукой, плеснул в лицо воды из бурдюка, вытер, заулыбался и кивнул. И так улыбаясь все глядел на Саадат, на белое ее лицо с открытым ртом. На то, как ее повели к фаэтону, а она не хотела идти, как она вдруг вернулась и о чем‑то просила отца, а тот глядел в сторону, и, так же улыбаясь, Хочбар вдруг крикнул, что хочет на прощанье сплясать для юной ханши, и стал плясать на месте, держа голову рукой, и увидел, как она пошла к нему, как к ней подбежал нукер, но она его оттолкнула, к нему подбежал второй, он хотел схватить этого второго, но кровь залила глаза. Когда же он опять стал видеть, Саадат садилась в фаэтон, и кумыки уезжали с площадки, исчезали во тьме. К нему уже без опаски шли нукеры и Башир, со своей блуждающей короткой улыбкой, вдруг он спружинил свое могучее тело, прыгнул, схватил Башира, как ему приходилось в набегах хватать людей, привычно и сильно, сдавил и вместе с Баширом побежал к костру.

– Не надо‑о‑оо! – вцепившись в телегу, успел крикнуть нуцал. – Не надо, отдай!..

Хочбар хотел шагнуть в сторону, но порыв огня, вдруг качнувшись, обдал их обоих и ушел на мгновение, оставив их дымящихся на фоне ровного пламени.

– Возьми, если можешь, – заорал Хочбар и страшно закашлялся. Он ничего не видел, – идите сюда, возьмите…

– Отдай, – еще раз крикнул нуцал.

Хочбар повернулся лицом к жару и вдруг шагнул в огонь, на секунду из гудящего пламени раздался его кашель, потом дикий крик Башира, и пламя опять загудело громко и ровно. Только теперь закричали, завыли остальные. Расталкивая нукеров, въезжали обратно кумыки. Страшно, вытаращив глаза, кричал, царапая себе лицо, нуцал. Он попытался тоже прыгнуть в огонь, но, почувствовав нестерпимый жар, побежал обратно. Нукеры хотели растащить бревна, но даже близко подойти не могли. Крик был слышен далеко и в ауле.

Зажав руками уши, Саадат уходила от этого крика. Начинался рассвет, и она долго шла вдоль обрыва. Когда стало чуть светлее, стала спускаться вниз к реке, но обрыв был слишком отвесным, скатившийся камень ударил ее по ногам, и, увлекая камни за собой, она стала падать вниз.

Сверху с обрыва кричал человек, но этого она уже не слышала.

На следующий день утром Ребо и ученик навсегда покидали Хунзах, никто не вышел попрощаться с ними, и окна голубого нуцальского дворца были закрыты, в слепых стеклах отражались горы, утреннее блеклое еще солнце.

У конюшни сидел на корточках Науш со странно опухшим, будто налитым водой лицом, смотрел прямо перед собой и строгал палочку. Ни в сторону каменной круглой площадки под Хунзахом, ни в сторону реки, где громко переговаривались люди с длинными шестами, они старались не глядеть.

Большая старая собака, спящая посередине улицы, поднялась и ушла в тень к стене. Кривоногий нукер, сопровождающий их, вел коня в поводу, бормотал и сплевывал. Утренняя дымка над Хунзахом казалась дымом вчерашнего костра.

– Я никогда не любил горы, – сказал Ребо, – люди в них хмуры и бедны, и дети их плачут громче и горше других детей. Мне всегда казалось, что горы противоестественны человеческой природе, но, может быть, я не прав и господь взгромоздил их, чтобы некоторые могли быть ближе к небу. Этот безумец, например.

Кривоногий нукер залез в седло и предложил им по куску сухого жесткого мяса.

Внизу гремела река и не давала больше говорить.

Этим же утром Лекав, Гула и другие мужчины из аула Хотада были на реке. После недавних дождей воды было много, и река опять несла бревна. Мальчик сушился у небольшого костра, жарил на палке форель и играл на скрипке хочбаровские песни. Подошел Лекав, с него текла вода, и он сел, чтобы погреться и переодеть исподнее.

– Ты пищишь, как комар, – сказал он мальчику, – и слишком увлечен мелодией. В застольной же песне, как и в речи, важен смысл, а значит слова. Смотри, я сейчас буду петь и думать, – он поднял указательный палец вверх и посмотрел на него, – и у меня получится. Но ты подсказывай слова, а то я собьюсь.

Мальчик заиграл и, обгоняя мелодию, произносил строчки. Лекав пел, вернее кричал.

На секунду в реке в пенистой бурлящей воде мелькнуло что‑то, не то бревно проскочило пороги, не то тело с обнаженной белой рукой.

Мальчик хотел крикнуть, но на поверхности воды уже ничего больше не было. Река гремела, унося свои воды к далеким спокойным степным рекам, чтобы влиться в Каспий.

– Я говорю, поскольку спрошен негромким голосом глухим, пусть будет хорошо хорошим, пусть плохо будет всем плохим. Пусть час рожденья проклиная, скрипя зубами в маете, все подлецы и негодяи умрут от боли в животе.

И уже после надписи «КОНЕЦ» два голоса, мужчины и мальчика, допоют эту песню.